

Карлов университет в Праге
Факультет философии
Кафедра транслатологии

Комментированный перевод на
русский язык:
Иван Клима «Мой безумный век»

Дипломная работа

Выполнил: студент 3 курса Епифанов Сергей

Научный руководитель: Мария Молчан

2012

Благодарность.

Я бы хотел поблагодарить своего научного руководителя Марию Молчан за ценные советы по работе, доктора Данушу Оганесян за поддержку и рекомендации по работе, секретариат кафедры транслатологии за своевременную помощь с учебными вопросами и отдельно руководство кафедры богемистики Карлова Университета, вопреки помощи которой данная работа все же была написана и сдана в срок.

Кроме того я бы хотел выразить свою безграничную благодарность своим родителям за моральную поддержку в ходе работы, Алле Белой за консультации и поддержку и Штепану Сухому за консультации по вопросам языка.

Отдельное спасибо Александру Туманову за предоставленные переводы израильской литературы и Херсону Буремглоеву за консультацию в области голландской транскрипции.

Prohlašuji, že bakalářskou práci jsem zpracoval samostatně a veškerou literaturu, kterou jsem použil, jsem uvedl v závěru práce.

V Praze dne

1. Перевод

Мой безумный век.

Иван Клима.

Глава первая.

1.

Первое воспоминание, которое сохранилось в моей памяти, касается довольно несущественной мелочи: мама взяла меня с собой за покупками вниз в квартал Высочаны¹ и попросила напомнить ей купить газету для папы. Для меня это было настолько важное поручение, что я его помню до сих пор. Как называлась эта газета, я не имел понятия. Когда я стал чуть постарше и уже умел немного читать, то начал замечать дома освещающие заграничную политику и культуру «Лидовки²» и, к моему удивлению «Народни политику» (покупавшуюся, скорее всего, в исключительных случаях), издававшуюся для иностранцев на немецком языке, но никогда коммунистическое «Руде право» или социал-демократическое «Право лиду». То, за кого голосуют родители, меня не интересовало. Я был счастливый ребенок – сытый и окруженный заботой.

¹ Высочаны (чеш. – Vysočany) – квартал в округе Прага 9 (и, небольшой частью, в Праге 3), в то время известный своей обширной промышленной частью. (Здесь и далее – прим. перевод.)

² «Лидове новины» (чеш. – Lidové noviny) – дословно «Народная газета» – ежедневная газета, до сих пор выходящая в Чехии.

Пока мне не исполнилось семь лет мы жили в довольно одиноко стоявшей на холме вилле³, к которой вела дорога от квартала Высочаны до района Кбелы⁴. Нашими единственными соседями были такая же вилла ниже по холму и, выше, постоянный двор. Постояльный двор был интереснейшим местом, тут останавливались возничие с подводами и могучими лошадьми. Перед тем как зайти внутрь к шумной стойке (ходить туда мне было строго-настрого запрещено), возницы давали своим битюгам ведро с водой или привязывали им торбу с кормом. В конце зимы они привозили на постоянный двор огромные кубы льда, которые затем складывали в погреб. Ото льда тянуло холодом, когда я сквозь него смотрел, он очаровывал меня своей полупрозрачной белизной. Я стоял в стороне и время от времени украдкой поглядывал на запретную стойку, из-за которой доносился неприятный запах разогреваемой колбасы и табачного дыма.

Я до сих пор помню имена владельцев всех трех соседних домов, но упоминать их смысла нет - ни с кем из тех, кто там тогда жил, я больше никогда не встретился. Взрослых уже наверняка давно нет на свете, а Вилда – паренек с виллы под нами, бывший немного старше меня, – умер в то время, когда мы там жили, от воспаления легких. Тогда от этого еще умирали. Этот страшный недуг постиг его, когда он, перегревшись, напился холодной воды. Мама меня много раз предупреждала, что болезнь может возникнуть по этой причине. Это была моя первая встреча со смертью, и я помню свое изумление от того, что человек сегодня есть, а потом резко исчезает и больше никогда не появляется и все это всего лишь от того, что он перегрелся и напился холодной воды. Я тоже начал искать в

³ Необходимо отметить, что чешские виллы в большей степени являются синонимом достатка, а не роскоши. Чаще всего они представляют из себя одно- или двухэтажное здание из кирпича, рассчитанное на одну или две семьи. Обычно к вилле примыкает земельный участок, зачастую переделываемый в сад.

⁴ Кбелы (чеш. – Kbely) – район в округе Прага 9, известный в то время своим военным аэродромом.

себе симптомы этого губительного недуга и внимательно изучал свое самочувствие перед тем как пить, но все же, как часто бывает в этом возрасте, вскоре о чужой смерти я просто забыл. Позже та же болезнь случилась у отца, хоть он и не перегревался и не пил холодную воду. Он слег с высокой температурой и в ознобе стучал зубами. Приехала бабушка, а сразу за ней и пан доктор Пфайфер, о котором я когда-то слышал, что он добрый самаритянин, который приходит даже посреди ночи и лечит бедных бесплатно. Мне не разрешалось подходить к отцу, но я видел, что мама вышла от него вся бледная, намочила в ванне простыню и рассказывала бабушке: доктор прогнозировал этой ночью обострение, и если отец с ним справится, то после этого пойдет на поправку. Сейчас доктор сделает ему обертывание, после чего всем нам останется только надеяться на лучшее.

Что бы произошло, если бы отец не справился? Я не мог себе представить что даже папа может умереть, и его больше никогда не будет. Я лежал и долго всматривался в подступившую тьму, которая могла поглотить его и больше никогда не отступить. Отец пережил обострение, поскольку сам по себе был сильным и в молодости участвовал в скаутском движении⁵. Уже через два дня он стоял в ванной и сбривал свою заросшую бороду.

В вилле, в которой мы жили, кроме владелицы дома жили еще ее дочка, зять и внучка. Еще был охотничий пес с весьма избитым именем Лорд и несколько серых полосатых кошек, чьи имена я не помню. В саду гнездились птицы, в основном разнообразные виды дроздов. Любопытно, что у человека четырех-пяти лет от роду есть, с виду, неограниченное

⁵ В Чехии организованное скаутское движение возникло в 1914 году. На протяжении XX века движение было трижды запрещено (первый раз нацистами, второй и третий раз коммунистами), но каждый раз возрождалось (история современного ведется с 1989 года). Пионерская организация возникла в Чехословакии только в 1945 году.

количество времени и он может, скажем, целый час смотреть на то, как черный дрозд прыгает по газону, пока победно не вырвет из земли дождевого червя и не полетит с ним к своему гнезду в густых кустах можжевельника; или же как на крышу соседского сарая падают хлопья снега, которые эта крыша, похожая на черноглавое чудище, жадно глотает – до тех пор, пока, наконец, не захлебнется и снег потихоньку не покроет ее темную толевою крышу. Мне это нравилось, я наблюдал, как растет уровень снега – с ним росли и мои надежды покататься на санках.

Наша вилла хоть и казалась мне большой, а сад практически бескрайним, но, на самом деле, когда спустя годы я пошел проведать это место, то увидел весьма скромный домик с крошечным садиком. В домике родители снимали две комнаты и кухню. Окна комнаты, в которой я спал, выходили на долину, по которой время от времени проезжал поезд; со dna долины, как и с противоположных ее склонов, торчали в небо крупные дымовые трубы, которые мне нравились. Они как будто бы были живыми, столбами выпуская в небо темный дым, подобно тому, как это делали паровозы. Вокруг простирались луга, небольшие лески и густые заросли кустов. Весной, когда деревья и кусты зацвели, я начал чихать, мои глаза покраснели, а ночью стало трудно дышать. Испуганная мама мерила мне температуру, заставляла глотать порошки, после которых я должен был потеть, затем отвела меня к доктору, объяснившему, что ничего серьезного я не подхватил – это просто сенная лихорадка, которая, по всей видимости, будет меня мучить каждую весну. Он, надо признаться, не ошибся.

На одном из заводов, который все называли Колбенка⁶, работал мой папа. Он был инженером и доктором, однако не тем доктором, который

⁶ Завод электротехнических изделий (специализирующийся на выпуске станков и трансформаторов), основанный Эмилем Колбеном, один из крупнейших в стране. В годы, описываемые в книге, он уже являлся частью знаменитого чешского гиганта машиностроительной области ЧКД (ČKD), в челе которого находился Колбен.

лечит людей, как объясняла мне мама. Он лечил моторы и различные машины и даже несколько изобрел. Моторы были весьма важны, поскольку приводили в движение локомотивы и автомобили и выступали в роли генераторов, принося в дом свет. Еще одно устройство, изобретенное отцом, могло крепко-накрепко соединить вместе два металла – это называлось сваркой. Папа казался мне большим и сильным, с головой, украшенной роскошной копной черных волос. Каждое утро он брился опасной бритвой, к которой мне было запрещено даже прикасаться. Перед тем как намылить лицо, он неспеша правил бритву на кусочке ремня, затачивая ее. Как-то раз, чтобы я понял ее пугающую остроту, он взял со стола булочку и легонько взмахнул этим небезопасным инструментом, после чего верхняя часть булочки упала на землю. Однажды, когда я вырасту, у меня тоже будет такая бритва, говорил папа, но в этом он ошибся. Сама мысль о том, что моя голова могла бы слететь с плеч так же легко, как половина той булочки, убедила меня использовать менее кровожадные станки.

У папы была дурная привычка, весьма злившая маму. Когда он шел по улице, то беспрестанно поплевывал в сторону. Однажды он взял меня на пешую прогулку в Высочаны, где над железнодорожными путями был деревянный виадук. Именно в этот момент подъезжал поезд и папа, чтобы меня повеселить, захотел мне показать, как плюнет паровозу прямо в трубу. Однако, то ли потоком ветра, то ли жаром от дыма отцу с головы сорвало его новую шляпу, и я, вместо того, чтобы следить за плевком, смотрел, как она большой птицей слетает вниз и садится прямо на вагон с углем. В тот день я впервые понял, что отец – человек действия. Вместо прогулки мы побежали на вокзал и отец добился того, чтобы заведующий позвонил на какую-то отдаленную станцию, чтобы там проверили вагоны с углем и отослали шляпу обратно, в том случае, если она все же найдется. Через несколько дней папа гордо принес шляпу домой, но мама сказала,

что это надеть на голову уже нельзя - от угольной пыли головной убор стал серо-полосатым, как кот.

Мама сидела со мной дома, взяв на себя все хлопоты по дому: она готовила, ходила в магазин, подолгу со мной гуляла и каждый вечер читала мне до тех пор, пока я не засыпал. Я изо всех сил старался не заснуть, опасаясь состояния бессознательности, которое приносил сон, и, главное, того, что уже никогда не проснусь. Кроме того, я боялся, что стоит мне только уснуть, как родители куда-нибудь уедут и, кто знает, вернутся ли. Иногда они начинали собираться до того, как я засыпал, и тогда я вытворял от страха черт знает что - плакал, кричал и хватал маму за юбку. (Кричать на папу я не отваживался – он умел кричать значительно громче, нежели я.) Таким образом, я им, прежде всего, маме, усложнял жизнь и портил впечатление от свободного вечера, когда они хотели бы побыть вместе и на минутку освободиться от своего избалованного чада.

В то время я был донельзя избалованным – долгое время я был единственным ребенком в семье, мой брат появился на свет, когда мне было семь. Дальнейшая жизнь моя избалованностью определенно не отличалась.

Время спокойной жизни и столь основательного наблюдения за живым и неживым миром стремительно подходит к концу в момент, когда человека запирают в школьном кабинете, где его, как в темнице сырой, держат как можно дальше от родителей, природы, активности и свежего воздуха; при этом ему постоянно обо всем этом рассказывают или же показывают на картинках и, к тому же, заставляют старательно выводить циферки и буквы.

Весьма непросто вжиться в проблемы, воззрения и ощущения собственных родителей – маленький человечек полностью погружен в самого себя, точнее, в отношение родителей к нему; о том, что существует

мир всевозможных сложных взаимоотношений, с которым родители должны справляться, он понимает гораздо позже.

Мои родители были из бедных семей, что, само собой, оказало влияние на их склад ума. Мама была предпоследней из шести детей в семье – мой дедушка Йозеф был родом с юга Чехии, моя бабушка Карла была из маленькой деревеньки недалеко от города Клатовы⁷. Дедушка работал мелким служащим в суде (у него было только среднее образование), у бабушки был свой небольшой галантерейный магазинчик, в котором она торговала тогда, когда не была погружена домашние хлопоты. В роли торговки она в конце концов потерпела фиаско – начиналась эра крупных торговых компаний, и дни небольших лавочек были сочтены. Дедушка с бабушкой, в сущности, были бедны – семья из восьми человек жила в двухкомнатной квартире на Петрской площади⁸, к тому же одна из комнат была сдана двум квартирантам – только с их деньгами за аренду можно было осилить квартплату. Тем не менее, бабушка с дедушкой следили за тем, чтобы их дети получили достойное образование – одна из маминых сестер стала первой женщиной-инженером химии в Чехии, сама мама закончила торговую академию и потом работала секретарем во французской фирме в Праге. У нее был удивительный талант к языкам. Несмотря на то, что латынь она учила еще в начальных классах гимназии, спустя тридцать лет она могла мне по ней помочь, когда та началась у нас в школе – мама была прекрасным проводником по лабиринтам цитат Тацита и Ливия, интуитивно находя из них выход куда как успешнее меня.

Два маминых брата должны были учить право, однако пошли в политику: старший был выбран депутатом от коммунистической партии,

⁷ Клатови (Klatovy) - небольшой город на западе Чешской Республики, в Пльзенском крае.

⁸ Относительно небольшая площадь в центре Праги на границе районов Старе-Место и Нове-Место рядом с костелом св. Петра.

младший – ведущим активистом коммунистических профсоюзов. Является ли данный выбор в пользу революционной партии результатом их ошибки в стремлении к идеализму или же солидарности с бедными, в то время еще составлявшими значительную часть общества, судить не берусь, поскольку я их практически не знал, однако же они оба по приказу руководства партии в военное время вернулись в протекторат⁹ из эмиграции, что, учитывая их еврейское происхождение, было практически самоубийством – то есть совершенно точно, что никакой личной выгоды они в этом не искали.

Мама любила своих братьев и уважала их взгляды, хоть и не разделяла их – ей не нравилось, что Советский Союз был для них важнее нашей республики, и что Ленина они уважали больше, чем Масарика¹⁰.

Папа редко рассказывал о своем детстве (да и вообще редко что-либо рассказывал – он приходил домой, ел, садился за письменный стол и погружался в расчеты обмотки своих электродвигателей), однако я знаю, что когда ему было тринадцать лет, он потерял своего отца; маленькой пенсии бабушки хватало на жизнь только потому, что ее деверь (единственный богатый родственник) позволил ей бесплатно жить в домике недалеко от Праги, который ради них и купил. Во время учебы папа зарабатывал на жизнь репетиторством (дополнительные занятия вынуждена была проводить и мама), однако спустя некоторое время нашел в Колбенке хорошее место, которое сохранил за собой и во время мирового экономического кризиса, начавшегося в конце 20-х годов. Несмотря на это, думаю, что безработица, коснувшаяся в ту пору множества рабочих, надолго оказала влияние на его образ мышления.

⁹ Протекторат Богемии и Моравии – зависимое государственное образование, учрежденное властями Третьего рейха во время 2-й мировой войны на оккупированной территории Чехословакии.

¹⁰ Томаш Гарриг Масарик — чешский социолог, философ, общественный и государственный деятель, один из лидеров движения за независимость Чехословакии, позже — первый президент республики.

В день¹¹, когда мне исполнилось шесть лет, умер Томаш Гарриг Масарик. Мама пообещала приготовить мне ко дню рождения заварные кольца, которые я считал особенным деликатесом. И в самом деле, она их испекла и наполнила кремом. До сегодняшнего дня эта картина стоит у меня перед глазами – в дверь заходит мама с блюдом пирожных и плачет, в голос всхлипывает, по ее красным щекам катятся слезы, а я не понимаю, почему она плачет – ведь у меня же день рождения.

На следующий день мы в школе (я уже несколько дней ходил в первый класс) разучивали любимую песню Масарика «Течет вода, течет»¹².

Где-то в это же время папа приехал на новом автомобиле, машина была темно-синяя и все ее называли «бэйбинка»¹³. Затем мама начала на нем ездить за покупками, но водитель из нее был никудышный – как то раз она везла меня вниз в Высочаны и, надо же было так случиться, что мотор заглох именно в тот момент, когда она переезжала трамвайные пути, а завести его снова мама не могла. Потихоньку начал выстраиваться хвост из звонивших в бессильной злобе трамваев, мама все больше впадала в отчаяние и готовилась бежать, бросив автомобиль. Нас вытолкали с путей какие-то люди, а совершенно незнакомый парень помог ей завести мотор. Мама была вне себя от злости и перепутала поворот – мы оказались посреди какого-то поля; заявив, что не имеет ни малейшего понятия, где мы находимся, мама сказала, что отсюда мы уже не выберемся. Я только и мог, что трястись от страха, что мотор снова заглохнет и потом нас,

¹¹ 14 сентября 1937 года

¹² «Тэче вода, тэче» (Teče voda, teče) – советский и позже российский журнал «Кругозор», в 1990 году выпустивший номер, посвященный искусству Чехословакии, описывает песню как «старинную чешскую балладу». Сама песня существовала в трех версиях: чешской, словацкой и моравской, а в приграничных районах ее пели, используя в тексте как чешские, так и словацкие слова.

¹³ Bejbinka (малышка) – народное прозвище автомобиля марки Baby фирмы Praga. Данная марка была типичным представителем небольших недорогих «народных» автомобилей.

застрывших на поле, обглодают зайцы. В конце концов, мы попали на дорогу, однако с тех пор я отказывался ездить с мамой куда бы то ни было.

Мне еще не исполнилось и семи лет, как была объявлена мобилизация; я не понимал взаимосвязи, но стоя у ворот вместе с соседками смотрел, как рядом с нами проезжают колонны автомашин и танков. Мы махали им в то время, как над нашей головой с шумом пролетали аэропланы (от нашего дома до аэродрома Кбелы¹⁴ было всего ничего).

Позже мама вновь плакала, а папа сердился на французов и англичан, о которых я не имел ни малейшего представления, поскольку никогда не видел вживую ни француза, ни англичанина, ни русского, несмотря на то, что именно русские, как говорил мой папа, были нашей последней надеждой.

Сразу после этого мы переехали в район Ганспаулка¹⁵. Новая квартира мне казалась гигантской, в ней было три комнаты и даже терраса, в кухне же была громадная печка. Когда ее сильно натапливали, горячая вода поступала в какие-то странные металлические штуки, которые папа называл радиаторами, несмотря на то, что они совершенно не были похожи на радио, в котором разговаривали человеческие голоса или же играла музыка. В этой новой квартире родился мой брат Ян, чье имя было чешским аналогом русскому Иван, так что если бы мы жили в России, то нас бы звали одинаково. Когда папа привез младенца с мамой из роддома, к нам в гости пришли обе бабушки, дедушка и тети. Все они осыпали комплиментами невероятно уродливого, на мой взгляд, младенца. В

¹⁴ Аэропорт Прага-Кбелы (Praha-Kbely) в середине 30-х лет был перестроен в военный аэродром, для отделения военной авиации от гражданской. Для нужд гражданской авиации в 1937 году был построен аэропорт Рузине (Ruzyně).

¹⁵ Ганспаулка (Hanspaulka) – район вилл в пражской городской части Дейвице, возникший в 20-е годы на месте находившихся тут ранее виноградников.

памяти, однако, осталась одна фраза, произнесенная тогда дедушкой, когда ему дали понять ребенка: «Ты, Янушка, все же выбрал не самое лучшее время».

2.

Однажды, когда к нам в гости пришла моя бабушка по папиной линии вместе с тетей (которая мне казалась, да и, на самом деле была очень красивой), они начали говорить по-немецки (может быть, они просто хотели обсудить что-то, не предназначавшееся для моих ушей – по-немецки я едва умел сказать *Guten Tag!*). Немецкий язык рассердил маму, и вскоре она сделала бабушке с тетей замечание, чтобы они перестали онемечиваться, поскольку им стоило бы обратить внимание, что нам повезло жить не в Германии. Бабушка минуту с ней спорила, доказывала, что язык ни в чем не виноват, однако позже, признала, что то, что творится в Германии, особенно то, как ущемляют *евреев*, страшно – иногда она просто не хочет в это верить.

До той минуты слово *еврей* я никогда не слышал и не имел ни малейшего понятия, что оно значит. Мне объяснили, что речь идет о вероисповедании; о нем я ничего не знал, на моем аттестате значилось: *Без вероисповедания*. На Рождество, само собой, Иисус приносил подарки¹⁶, но о той его стороне, которая была раскрыта в Евангелии, я никогда не слышал. Поскольку я получил в подарок великолепное изложение «Илиады» и «Одиссеи», о богах я знал куда больше, чем о Боге, в которого верили мои предки. Впоследствии родители окрестили и меня, и брата, наивно предполагая, что тем самым спасут нас от возможного преследования. Поскольку среди маминых далеких предков, по семейным

¹⁶ В Чехии подарки дарятся на Рождество, причем, считается, что их приносит Иисус.

легендам, были и протестанты, меня с братом крестил приходской священник Евангелической церкви чешских братьев¹⁷. Я получил бумагу, которую храню и по сей день, но ни о Боге, ни о Иисусе, в которого мне следовало верить, что он его Сын и своей смертью на кресте избавил от столь близкой смерти всех людей (а, значит, и меня), я все еще ничего не знал.

Между тем, папа сердился на англичан, однако родители мне рассказали, что мы будем переезжать в Англию. Мне дали весьма милый учебник английского в картинках, который назывался *Laugh and learn*, и мама начала со мной заниматься.

Я хотел знать, почему мы должны переезжать в страну, где все разговаривают на языке, который я не понимаю: в котором мочалка пишется *sponge*, а читается *спондж*, раковина пишется *wash basin*, а читается *вош бэйзин*; и зачем нам всем выезжать из новой квартиры, жить в которой нам всем нравится.

Папа сказал, что я не пойму – ему предложили там хорошее место, в то время, как здесь может случиться все что угодно, особенно если нас захватят немцы, которыми правит какой-то никчемный болван и негодяй Гитлер.

В один заснеженный день немцы и впрямь вторглись в республику. Мама снова плакала и причитала, что будь жив Масарик, то он бы немцев никогда к нам не пустил.

Сразу же на следующее утро к нам пришли совершенно незнакомые мне люди, говорившие, а точнее, оравшие по-немецки; они прошли через всю нашу красивую квартиру, заглянули в шкаф, под постели, на террасу, в кроватку, в которой расплакался мой маленький братик, потом что-то еще проорали и ушли. Я хотел знать, что это были за люди, которые могли

¹⁷ Крупнейшая кальвинистско-лютеранская община Чехии.

ходить по нашей квартире так, будто она была их собственной; мама вновь сказала одно из тех слов, что я слышал впервые: *гестапо*, и объяснила, что они искали дядю Отто и дядю Виктора. Мама была сильно бледна, она достала брата из кровати и попыталась его убаюкать, но, поскольку сама была рассержена, брат плакал все сильнее и сильнее.

За ужином папа сказал маме: нам нужно отсюда исчезнуть! Однако в Англию мы не поехали, поскольку хоть мы четверо и получили визы, но папа еще просил визу и для бабушки, однако ответа все не было. В это самое время пан Коварж, которому принадлежала вилла, в которой мы жили, уведомил нас о расторжении аренды – он не собирался терпеть в доме евреев, раз теперь это стало осуждаться. Но мне об этом обстоятельстве, само собой, никто не рассказал, и я все еще не подозревал о том, что я видите ли отличаюсь от других людей настолько, что меня даже из-за этого хотят убить.

Мы перебрались в только-только достроенный дом в пражском квартале Вршовице¹⁸, вновь в две комнаты и сразу после этого началась война.

Я уже не смогу рассказать, как была обставлена квартира – в памяти смутно проносится зеленая тахта, книжный шкаф, на котором покоится лазурно-синее блюдо и большая карта Европы и северного побережья Африки, висящая на стене гостиной; по карте папа следил за ходом войны.

Война развивалась не в лучшую сторону – немецкие войска невероятно быстро захватывали все цветные кусочки, которые обозначали государства, уже безошибочно мной узнаваемые: Голландию, Бельгию, Францию, Данию, Норвегию, Югославию; ко всему прочему негодяй Гитлер договорился с неким Сталиным, правившим Советским Союзом, о том, что их империи теперь будут дружить. Папу эта новость застала

¹⁸ Вршовице (чеш. – Vršovice) – пражский квартал в районе Прага 10 на юго-востоке города.

врасплох, я тоже понимал, что это плохо, поскольку территория, обозначенная как Советский Союз, была так велика, что, если согнуть карту, спрятала бы под собой всю Европу, да и то на карте, уточнял папа, от Советского Союза был всего лишь кусочек.

С самого начала в нашем новом доме я обрел множество друзей и подруг; охотнее всего мы играли в футбол, в котором я довольно здорово выделялся среди прочих, потом в прятки, поскольку местность в окрестностях дома была довольно изрезанной. На углу улицы открыли трактир с маленьким садиком, в котором были столики и стулья, если нам удавалось туда добежать, мы могли найти там много хороших укрытий.

Через некоторое время государственные органы протектората запретили мне ходить в школу, в кино и в парк и чуть позже велели носить звезду, здорово смущавшую меня, поскольку я понимал, что она символизирует мою деклассированность. К тому моменту Германия уже напала на Советский Союз и отец воспрял духом, предрекая конец Гитлера, которого постигнет та же судьба, как и всех тех, кто нападал на русских. Даже великий Наполеон потерпел там позорное поражение, а ведь тогда у русских еще не было того государственного устройства, представлявшего вершину прогресса, при котором по-настоящему правил народ.

Однако же все развивалось иначе, и на той большой карте от гигантской территории Советского Союза день ото дня отщипывался кусочек. Отец твердил, что это не может быть правдой, что немцы просто на просто лгут.

Они лгали практически во всем, но в тех новостях из Главной ставки лжи было не так уж и много. Немцы везде рисовали большую „V“, которая обозначала победу, при этом у них еще оставалось достаточно времени придумывать все новые и новые запреты, усложнявшие нам жизнь до невыносимости: я уже не мог вечером выйти на улицу, не имел права

ездить на поезде, мама могла ходить за покупками только в установленное время, бабушку выселили до квартирки на задворках города, поскольку центр города не следовало загрязнять еврейским присутствием. Один лишь папа все так же ходил на работу, поскольку, как мне объяснила мама, своим профессионализмом завоевал мировое признание.

Теперь мы жили в полной изоляции. Папина старшая сестра-красавица Илонка в последний момент смогла уехать в Канаду. К старшей маминной сестре Элишке мы не могли ни зайти на чай, ни просто о ней упомянуть в разговоре – она решила скрыть свое происхождение и попробовать переждать войну как *арийка*. Папа считал, что ей едва ли это удастся, однако вновь ошибся. Самая младшая мамина сестра сбежала в Советский союз, ее братья-коммунисты некоторое время скрывались, однако по прошествии времени также бежали. Когда их выслали обратно, чтобы они работали здесь в подполье, немцы их быстро разыскали, посадили в тюрьму и вскоре казнили. Зато к нам переехала другая мамина сестра – Ирена, разведенная, но лишь для видимости. Ее муж, который не был евреем, владел лавкой и небольшим производством косметики. Если бы они не развелись, то лавку у него бы просто отобрали. Практически никто в ту пору не мог предположить, что, сохраняя таким образом заводик, они тем самым ставят под удар тетину жизнь.

В нашем доме жили еще две семьи, также обязанные носить звезду – одна на первом этаже и другая на последнем.

В сентябре сорок первого года семье с первого этажа – их звали Германновы – приказали выехать в Польшу, вроде как, в Лодзь. Это называлось *транспорт*.

Помню, как они уезжали – у них было две дочери чуть постарше, чем я – обе девочки волокли громадные чемоданы. На каждом чемодане они обязаны были написать свое имя и номер, обозначающий их транспорт. Люди, жившие в нашем доме, выглядывали из дверей и наиболее

отважные прощались с Германновыми, убеждая их, что война скоро закончится, и они смогут вернуться назад. Это было всеобщим заблуждением.

Родители срочно искали чемоданы и даже металлическую посуду. В недавно открытой в соседнем доме аптеке они купили про запас лекарства и глюкозу. Другие запасы они не могли сделать, поскольку все было по талонам, а у нас талоны были особенные – со звездой, по ним можно было купить едва ли половину того, что могли купить люди без звезды. С момента отъезда Германновых не прошло и двух месяцев, как повестку на транспорт получил отец, но не в Польшу, а в Терезин. Это был первый транспорт до этого городка, находящегося неподалеку от Праги. Сама крепость была построена много лет назад для защиты от немцев, но она никогда, как рассказывал папа, даже не попыталась сыграть эту роль. Папа также должен был подписать свой чемодан, и когда он уезжал, то мама постоянно сетовала – она не знала, как нам теперь быть, как и на что мы будем жить и сможем ли мы вообще хоть когда-нибудь встретиться снова. Папа ее утешал и твердил, что хоть в настоящее время Советский союз и отступает, но лишь с целью заманить немцев в глубину огромной страны, как когда-то туда заманили Наполеона; страшная русская зима на подходе, и она уничтожит немцев. В этом он не заблуждался, только времени понадобилось куда как больше, нежели он себе представлял.

Через несколько дней после этого повестку на транспорт получили и мы. В тот день Америка вступила в войну с Японией, и безумный фюрер Гитлер немедленно объявил американцам войну. Соседи, помогавшие нам побыстрее собраться, твердили, что теперь-то уж Гитлер точно сам себе подписал приговор. Они не ошибались.

В Терезине нас поселили в казармах, которые назывались Дрезденские. В небольшом помещении, которое называлось *убикация*,

разместили тридцать пять человек – кроме меня с братом это были одни только женщины.

3.

То, что мы обязаны были жить с таким количеством людей в одном помещении и то, что все должны были спать на земле (матрасы мы могли взять из дома, но здесь было так мало места, что разместить их мы могли только в длину) угнетало большинство женщин. Помню, в первый вечер повсюду слышались рыдания, по помещению кто-то постоянно ходил, и женщины не могли уснуть. Я же, напротив, хоть и не любил засыпать, спокойно проспал целую ночь на земле, причем, довольно хорошо. На следующий день с утра нам объявили, где выдается завтрак, и я туда пошел с миской с интересом, что же мне достанется. Ничего хорошего там мне не дали - горячий суррогатный черный кофе и, чуть позже, хлеб. Первый обед я не помню, но практически все обеды были одинаковые: суп, в котором плавали зернышки тмина с куском турнепса или несколькими полосочками квашеной капусты, на второе – пара картофелин в кожуре и соус. Соус делался из паприки, горчицы и тмина, иногда еще из супового порошка, изредка в соусе даже попадались кусочки мяса.

Возможно, меня подводит память, стирающая неприятные подробности, но сегодня мне не кажется, что я переживал какие-то жестокие мучения – я воспринимал все происходящее как интересную перемену. После долгого периода жизни в изоляции от всех людей мое уединение подошло к концу. В казармах даже жили несколько детей моего возраста, с которыми я мог с ними встречаться. Мне в память навсегда врезался момент, до сих пор остающийся одним из моих самых больших жизненных триумфов. Во дворе – единственном месте, куда мы могли выходить днем – несколько ребят играли в футбол. Я никого из них не

знал, и им не пришло в голову пригласить меня в игру. Я просто стоял поодаль и ждал. Через некоторое время ко мне подлетел мяч, и я оказался вместе с ним в пылу игры. Я лавировал между ними, наверное, минуту, прежде чем им удалось у меня его забрать. После этого игра была остановлена, команды снова поделились и меня взяли в одну из них.

Через неделю в нашей убикации появился папа, сказав, что он тут лишь на минутку – починить какую-то проводку (постоянного света тут не было, а поскольку предрождественские дни были коротки, мы передвигались на ощупь в темноте или же жгли последние свечи, взятые из дому). Отец обнял маму и нас, торопливо рассказывая, что немцы бегут от Москвы, что целая их армия там замерзла и скоро войне будет конец, и мы снова вернемся домой. Это все он рассказывал маме, однако слушали его все женщины, находившиеся в тот момент в комнате, и я ощутил, как все пространство наполнилось облегчением и надеждой. В целом, настроение в убикации улучшилось, иногда по вечерам, плотно закрыв и завесив окна, женщины начинали петь; песни я в основном не знал, к тому же не умел петь, но они мне нравились. Помимо этого я слушал байки повествующие, чаще всего о жизни на свободе в лучшие, нежели сейчас, времена. Тем не менее, сразу после Нового года по казармам стали разносить повестки на транспорт, отъезжающий, скорее всего, куда-то в Польшу, впрочем, в этом никто не был уверен полностью.

Некоторые женщины плакали, более сильные или, скорее, с менее развитым воображением их утешали, говоря, что хуже, чем здесь быть не может, но в этом они ошибались. Получившие повестку снова собирали свои немногочисленные пожитки, привезенные из дома, и готовились к новому пути, не подозревая, что для многих он станет последним. Наша убикация на несколько дней обезлюдела, но вскоре в Терезин пришли следующие транспорты, заполнившие опустевшее было место. Я понял, что в дальнейшем люди вокруг меня будут появляться лишь для того,

чтобы снова исчезнуть и поэтому даже нет смысла пытаться запомнить их имена.

На транспорт мы пока что не попадали, поскольку папа был членом самого первого транспорта, строившего лагерь, а немцы пообещали, что все строители со своими семьями останутся в Терезине. Я воспринял это обстоятельство как данность, не понимая, что верить обещаниям наших тюремщиков было наивно.

Все той же зимой мой младший брат подхватил скарлатину и доктор определила, что похоже я ее уже перенес, раз уже «шелушился».

Нас обоих отвезли в лазарет. Об этом лазарете я писал в романе «Судья из милости¹⁹», описав дорогу по заснеженной улице к другим казармам; сегодня я уже и не знаю, не выдумал ли я эту дорогу, но это не существенно, лазарет существовал, и нас принимала молодая сестричка – ее звали или же прозвали Нафталинка – она казалась мне очень красивой. Это была первая девушка или же молодая женщина, увлекшая меня настолько, что и до сего дня я помню ее имя и ее приветливость. Она утешала маму, которая боялась того, что не могла остаться с нами в минуту тяжелой болезни, грозившей смертью. Эта красивая медсестра пообещала, что будет о нас заботиться так, как если бы мы были ее собственными детьми, и что мы через пару дней вернемся полностью здоровыми. Сестричку эту я видел только в лазарете и выйдя из него уже никогда не встречал; помню, как она мне всегда приветливо улыбалась и даже как-то раз села ко мне на постель и, не перебивая, слушала мой рассказ о том, как троянцы мужественно сопротивлялись грекам, и как Парис поразил Ахиллеса в пяту, бывшую его единственным уязвимым местом. Она рассмеялась, хотя в моем рассказе не было ничего смешного (тогда я еще не знал, что девушки смеются, показывая свой интерес,

¹⁹ «Soudce z milosti», ISBN 8020009728, EAN 9788020009722, Academia, 2002. Впервые издан в Лондоне в 1986 году. На русский язык роман на момент написания работы не переводился.

симпатию или хотя бы просто тот факт, что они слушают). После этого всякий раз, когда она проходила мимо, она нежно меня касалась, снова смеясь при этом. Не знаю, пережила ли она войну, скорее всего, ее убили, как и большинство тех, с кем я познакомился в Терезине.

В лазарете мне жилось хорошо, болезнь была уже в прошлом, к тому же, там по рукам ходило чтиво, которое попало ко мне в первый (и, собственно, в последний) раз в жизни. Это были отдельные выпуски журналов «Родокапс», «Переполох» и «Дикий Запад»²⁰. Я был настолько захвачен интригующим сюжетом, что до сих пор помню, как где-то на Диком Западе убийца руководил действиями своих злокозненных сообщников, скрываясь в глубокой яме за городом. Поиски прячущегося в яме долгое время были безуспешными, пока, наконец, не выяснилось, что этим злым гением был местный шериф. (Интересно, как первая встреча с подобного рода историей навсегда остается в памяти, в то время как ряд дальнейших, несомненно, лучше написанных и более интересных, выпадает из нее навсегда.)

Я все же начинал понимать, что никакой выдуманный злодей не может сравниться с злодеями, в руки которых мы попали.

Где-то весной 1942 года нас перевели в другие казармы, называвшиеся Гамбургские и мало чем отличающиеся от тех, в которых мы жили до этого момента, разве что в убикации жило меньше людей, поскольку она была меньше, да и еще в ней было окно, выходящее в коридор. Я потерял тех нескольких друзей, с которыми успел сблизился – переходить из одних казарм в другие запрещалось. Еда была такая же, и дни были похожи один на другой, заполненные очередями за едой, за водой, в туалет и на прогулку во дворе. Мама сказала, что будет со мной

²⁰ «Rodokaps» – сокр. от «Román do kapsy» (чеш. – карманный роман), «Rozruch», «Divoký západ» - серии приключенческих романов в тетрадах, издававшихся с 30-х лет XX века. Название «Rodokaps» позже стал нарицательным для недорогих романов того же жанра.

заниматься, но, поскольку у нас не было ни бумаги, ни книг, она мне просто рассказывала о давних временах, о императоре Карле²¹, основавшем университет (я не знал, что такое университет, но не захотел спросить) и о Яне Гусе, сожженном в Констанце – мама подчеркнула, что справедливость в мире всегда постигали неудачи, и власть имущие не стеснялись убивать тех, кто выступал против них. Также она рассказывала мне о президенте Масарике, который наперекор этому правилу пошел против общественного мнения, встав на защиту некоего Хилснера, обвиняемого в совершении ритуальных убийств²². Когда я спросил, в чем именно там было дело, мама сказала, что это была полная бессмыслица, выдуманная подлыми людьми для того, чтобы ненавидеть евреев – никакого такого убийства никогда не было.

Мой брат Яник тоже слушал, что рассказывала мама, несмотря на то, что ничего из этого не понимал – ему еще не исполнилось и четырех лет. Из нескольких принесенных из дома кубиков и выдаваемых для растопки печей поленьев он строил на полу между матрасами замки, которыми он очень гордился.

Спустя некоторое время в Терезин вынуждены были приехать и мамины родители, и тетя Ирена с второй бабушкой. Их поселили в те же казармы, так что мы могли вместе с ними встречаться. Они рассказывали, что происходит в Праге и про победы немцев на всех фронтах – в России они приближались к реке Волге. Несмотря на это дедушка твердил, что

²¹ Имеется в виду Карл IV (1316-1378) – король Чехии и Германии и император Священной Римской Империи.

²² Дело Хилснера – серия судебных процессов в Богемии на переломе 19.-20. веков. Леопольд Хилснер – 23-летний еврей, бродяга не большого ума обвинялся в двух ритуальных убийствах. Томаш Гарриг Масарик возглавил немногочисленную защиту, считая процесс чисто антисемитским, строящимся лишь на косвенных доказательствах. Был резко критикован средствами массовой информации.

русских все равно никто не победит, поскольку Россия громадная и ее никто никогда не захватывал.

Дедушку я любил за то, что он со мной разговаривал так, как будто я уже был взрослый. Он мне рассказывал, как нас предали союзники, о коллаборационистах и фашистах, выдававших каждого, кто оказывал сопротивление немцам. Еще дедушка переживал из-за двух дядей, исчезнувших сразу после прихода немцев, от которых не было никаких вестей.

Дедушка был низенького роста, у него был высокий лоб и мало волос, он носил узенькие серые усики, из-за которых напоминал мне президента Бенеша²³, чей портрет висел у в классе моей школы в то время, когда я все еще мог ее посещать.

Летом сорок второго с ворот наших казарм в один момент исчезли жандармы²⁴, и мы получили возможность выйти наружу на улицы гарнизонного городка, взятого в кольцо укреплениями и глубокими рвами. Я тогда выбежал на улицу как счастливый козлик, выпущенный из хлева во двор и не догадывающийся о своей будущей судьбе. Несколько дней я ощущал себя так, будто бы вновь был свободным.

Некоторое время спустя нас вновь переселили, в этот раз в Магдебургские казармы, вобравшие в себя множество видных деятелей культуры, науки и искусства. Нам отвели комнатку над задними воротами казарм, в которой мы могли жить с папой и бабушками, с дедушкой и тетей, и где стоял обитый буфет. Поскольку в гетто папа заботился обо всем, связанным с электричеством, мы были удостоены радовавшей нас привилегии жить всем вместе. В соседней убикации жили

²³ Эдвард Бенеш (чеш. – Edvard Beneš) – второй президент Чехословакии (1935–1948), в годы войны был президентом в изгнании, управляя страной и движением Сопротивления из-за границы.

²⁴ Полевая жандармерия (нем. Feldgendarmarie) – подразделения военной полиции армии Германской империи и Третьего рейха, действовавшие с середины XIX века до окончания Второй мировой войны.

три художника со своими женами и детьми. Сын одного из них – маленький Томаш Фритта – дружил с моим братом, и пан Фритта нарисовал брату ко дню рождения несколько картинок, к каждому из которых один терезинский поэт – Мирко Тума – написал небольшой стишок. Рисунок большого поросенка был подписан: *Наш свиненок на лугу / Пощипал всю-всю траву / Кушать хочет и сейчас / Не оставил про запас.* (Лишь спустя годы я понял как кощунственно не по-еврейски звучал *наш свиненок*.)

Еще один художник – пан Лео Хаас²⁵ – спросил, не могу ли я в своем оборванном костюмчике с желтой звездой на пиджаке минутку побыть ему моделью. Я с радостью согласился – вовсе не потому, что мечтал, чтобы с меня писали портрет, а потому, что меня это выдергивало из привычного круговорота жизни в казармах. Когда пан Хаас закончил, я отважился попросить у него несколько четвертушек бумаги. Он ответил, что четвертушки редкость и для него, поскольку он их должен был красть (он сказал *сбондить*, что обозначало тоже самое), однако одну все же мне дал, и я потом пробовал нарисовать, как во дворе стоит очередь за едой.

Когда наши нацистские тюремщики выяснили, что художники вместо того, чтобы выполнять данные им задания, рисуют и пишут сцены гетто, то моментально посадили их под арест, несмотря на то, что собственно мы все и так уже были здесь под арестом. Жизнь художников закончилась в Освенциме, их жен и даже детей постигла та же судьба в Малой крепости²⁶. Выжил только пан Хаас и, чудом, маленький Томаш, которому тогда еще не было и пяти лет. Выжила и часть их рисунков и картин, хорошо укрытая под полом.

²⁵ Лео Хаас (чеш. – Leo Naas) – график, рисовальщик, иллюстратор и художник, посвящавший, как и Фритта, свое свободное время в гетто зарисовкам, документирующим реалии здешней жизни.

²⁶ Часть Терезина, в основном использовавшаяся как тюрьма для политических заключенных.

Я все еще был в том возрасте, когда не был обязан работать, так что у меня было множество свободного времени. Я не был один такой в казармах, с остальными мы встречались во дворе или за казармами. За казармами стояла кузница, в которой пан Таузиг подковывал лошадей, тягавших подводы – иногда с едой, иногда с мусором или чемоданами, полными вещами, оставшимися от умерших. Все то, что от них оставалось, принадлежало уже немцам. У пана Таузига была дочь Ольга примерно того же возраста, что и я, у нее были длинные каштановые волосы, и она казалась мне очень красивой. Перед кузницей росли два больших дерева – думаю, это были липы – мы натянули между стволами бечевку, на земле несколькими камнями обозначили границы площадки и играли там в волейбол. Обычно я был одним из двух капитанов и мог набирать игроков в свою команду. Первой я выбирал Ольгу, чтобы ее не взял другой капитан, и потом старался показывать отличную игру и даже гасить мячи, чтобы она в случае победы понимала, что это моя заслуга.

Мы играли и в вышибал, и в салочки. Кроме того мы воровали – иногда уголь и, изредка (поскольку это было слишком опасно), картошку из погреба. Однажды мы проникли на склад, где я украл оставшийся от какого-то мертвеца чемодан, полный печальных пожитков, между которыми наиболее любопытными были горные ботинки. Еще мы пробовали бросать камни в крыс с незастекленных оконных эркеров (я ни разу не попал ни в одну из них, зато стал мастером в ловле блох, которыми, как и клопами, кишела казарма); в те дни, когда шел дождь, мы просто так гуляли по коридору, и я развлекал всех историями: иногда теми, которые помнил из книги о Троянской войне и скитаниях Одиссея, иногда выдуманными мной, например, об индейцах (о которых я и впрямь не знал ничего) или о знаменитом изобретателе, построившем аэроплан для полета на Луну (об астрономии и ракетах я знал еще меньше). В какой-то момент немцы на небольшой срок разрешили играть в казармах оперы и

театральные постановки, причем даже в сопровождении фисгармонии. Именно так я впервые в жизни увидел и услышал «Проданную невесту²⁷». Не рискну описать свои переживания от музыки, но они должны были быть невероятно сильны – мгновенное прикосновение того мира, из которого я был изгнан. Любопытно, что кроме самой пьесы я ничего не запомнил (например, сидели ли мы во время представления и если да, то на чем), но легко могу воскресить в памяти лица двух главных исполнителей.

Примерно в то же время я начал посещать школу. Собственно, школа представляла собой одно казарменное помещение с единственной учительницей. Мои одноклассники так же, как и я, уже несколько лет не могли посещать начальную школу, так что учить нас должно быть было непростым делом. Пани учительница Кишова была седовласая дама, она живописно рассказывала нам о литературе, по памяти читала нам стихи, написанные поэтами Махой, Эрбеном и Нерудой²⁸, о которых я слышал впервые, кроме того она познакомила нас с Доном Кихотом, жившим в Испании, иногда мы пели моравские и еврейские песни или учились правописанию. Она призывала нас, чтобы мы все хорошенько запоминали, поскольку война рано или поздно закончится, а мы не имеем права терять столько лет своего образования. Вот только для того, чтобы человек запоминал, он должен сосредоточиться на том, что слышит, а не думать о еде – о ней мы думали практически непрерывно.

Пани учительница даже достала для нас немного бумаги, а если у кого-нибудь не было чем писать, давала и ручку. Однажды мы получили

²⁷ «Проданная невеста» (чеш. *Prodaná nevěsta*) — комическая опера в трех действиях чешского композитора Бедржиха Сметаны на либретто Карела Сабины.

²⁸ Карел Гинек Маха (чеш. – *Karel Hynek Mácha*), Карел Яромир Эрбен (чеш. – *Karel Jaromír Erben*), Ян Неруда (чеш. – *Jan Neruda*) – чешские писатели и поэты XIX века.

задание написать сочинение о местах, воспоминание о которых приносит нам радость.

Большинство моих одноклассников писало о своих домах, которые они были вынуждены оставить, я же писал о лесе в пражском квартале Крч²⁹ и о парке на холме Петршин³⁰, несмотря на то, что был в обоих местах, наверное, только раз. Но здесь – в Терезине, полностью состоящем из домов, казарм и деревянных бараков, где всюду толкались толпы людей, я скучал по лесу и по парку – местам столь же недоступным, как и дом, но более открытым и наполненным запахами и тишиной.

Моя работа так понравилась пани учительнице, что на следующем уроке она попросила меня, чтобы я вслух прочел ее остальным. Остальные, само собой, скучали во время моего чтения, но я чувствовал себя так, будто был удостоен великой чести. Может быть, именно в ту минуту во мне родилась решимость по возвращении домой начать писать, и писать целые книги. Вот только учеба наша длилась каких-то несколько недель – снова начали ходить транспорты, и один из них поглотил и нашу пани учительницу, о которой потом я уже больше никогда не слышал.

Бабушка Карла заболела – у нее была *миома*, она истекала кровью – комната была наполнена странным отталкивающим запахом. Мама роптала, поскольку бабушка должна болеть в таких условиях, но лучшие условия были просто недостижимы. Бабушке становилось все хуже, она перестала есть, пила только носимую мной в ведре и в железной миске воду, когда я выстаивал за ней очередь.

Мама, как только выдавалась свободная минутка, сидела с бабушкой, держа ее за руку и повторяя, что все будет хорошо, война скоро закончится, бабушка вернется домой, и они вместе пойдут прогуляться по

²⁹ Крч (чеш. – Krč) – квартал в округе Прага 4.

³⁰ Петршин (чеш. – Petřín) – холм в центре Праги, самая известная возвышенность города.

Петрской площади³¹. При этом у мамы текли по щекам слезы, но бабушка их не видела, поскольку лежала с закрытыми глазами и не отвечала, только едва-едва дышала. Затем мама отослала меня и брата на улицу, наказав, чтобы мы там были как можно дольше.

За казармами вновь собрали остовы деревянных бараков, мы с братом по ним полазали и потом пошли посмотреть, как пан Таузиг подковывает коней. Наружу вышла только его дочка, так нравившаяся мне, и удивилась, что мы тут делаем вечером – скоро будет восемь, и мы можем попасть в беду. Мне пришло в голову объяснение. Я сказал, что у нас умирает бабушка. И в самом деле, когда мы вернулись обратно в нашу убикацию, там было темно, нараспашку открыты окна и на бабушкиной койке уже никто не лежал. Возле той сбитой из нескольких досок узенькой постели горела свечка – один бог знает, как ее достала мама. Мама что-то шептала, будто молясь, хоть она никогда и не молилась. Быть может, она просто посылала какие-то тихие слова прощания вслед бабушке.

4.

Ходили слухи, что из Терезина пропали какие-то люди – подсчитать сколько получалось с большим трудом, поскольку каждый день умирали многие и многие. Немцы очевидно сами не были уверены, сколько людей на самом деле живет в нашем строго охраняемом городке и решили нас пересчитать. Поэтому рано утром нас всех выгнали из городка на огромный луг. Это было осенним пасмурным и дождливым днем, видимо в 1943 году, поскольку папа был еще с нами. В дорогу мы получили пайку из куска хлеба, маргарина и паштета. На лугу нас снова и снова строили, нас окружили жандармы, которые целились в нас стволами своих ружей.

³¹ Петрская площадь (чеш. – Petřské náměstí) – относительно небольшая площадь в центре Праги.

Вдоль рядов все время бегали какие-то люди, позже и эсэсовцы. Их было много, некоторых из них я никогда до этого не видел – вероятно, они приехали для усиления, и это, как говорили люди вокруг нас, не сулило ничего хорошего.

Мы стояли там час, два, пять часов, целый день – дождь все усиливался, света становилось все меньше и меньше, а мы должны были недвижимо стоять. Женщины вокруг нас стонали, что это последний день нашей жизни, поскольку нас всех перестреляют или сбросят на нас бомбу. И в самом деле, над нашими головами пролетел самолет с черным крестом на крыльях. Одни из нас уже не могли стоять, другие их поддерживали, а некоторые, в основном глубокие старики, просто валились в грязную кашу под собой и не вставали, несмотря на то, что прочие предупреждали, что эсэсовцы этого на дух не переносят и тех, кто падает, могут застрелить.

Как всегда, я, пребывая в какой-то странной уверенности, превозмог страх – я не мог себе и представить, чтобы кто-то пришел и убил человека только потому, что тот не мог стоять. Несмотря на это у меня странным образом сдавливало горло – так, что я едва мог сглотнуть – я задумал стоять даже в том случае, если бы все упали – все-таки я не мог позволить просто так себя убить. Зато плакал мой братик, постоянно требуя вернуться домой – говорил, что ему холодно и он боится.

Эсэсовцы постоянно носились вокруг нас, кричали на упавших на землю, пинали их, заставляя встать, и считали, считали, считали... Закончить считать они никак не могли, поскольку, как сказал папа, были выучены убивать, а не считать. В конце концов вечером какой-то эсэсовец, командовавший всем этим, отдал приказ возвращаться. Мы толкались у ворот, желая вернуться обратно в свои вонючие, завшивленные дыры, поскольку, какими бы они ни были, это были наши дома.

Однажды мы получили какие-то отвратные консервы, называемые паштетом из кровяной колбасы. На вкус они были отвратительные, но я с

голода их поглотал; посреди ночи меня тошнило и три дня после этого я не мог проглотить ни кусочка. В лазарете доктор прощупал мне живот, потом осмотрел глаза, говоря мне глядеть налево, направо и вверх, после чего сказал, что у меня желтуха и едва ли консервы были тому причиной. Вновь я безжизненно лежал, а мама меня уговаривала, чтобы я проглотил хоть ложечку супа из крупы с плавающим турнепсом, иначе ослабею, но я просто не мог этого сделать. Я только выпил чуточку обычной воды, поскольку даже она была вонючей.

На четвертый день я почувствовал сильный голод. Мама тогда – не знаю как, скорее всего упросив какого-то повара – достала несколько сырых картофелин, кусок турнепса и одну морковку. Тетя, работавшая в макаронном цеху, вынесла на голом теле кусочек теста, и мама из этих редких ингредиентов сварила овощной суп с лапшой. Это был такой деликатес, подобного которому я уже никогда в жизни не пробовал ни на каких наироскошнейших приемах.

Потом случилось нечто удивительное. В Терезине начали открываться магазины. Из помещений, которые под них выбирались эсэсовцами, выселяли людей, ютившихся там, и навозили туда товар, в основном вещи из чемоданов мертвецов. На площади построили концертный павильон, в котором играл настоящий оркестр, в небольшом парке под укреплениями стал строиться детский сад. Над его входом голландский художник – пан Спир³² – нарисовал разных зверей: слона, жирафа и еще, если мне не изменяет память, обезьяну. Также мы получили банкноты, но не настоящие, а выпущенные для нашего гетто. На них художник³³ изобразил неизвестного бородача, держащего в руках

³² Йо Спир (Jo Spier, полное имя Joseph Eduard Adolf Spier) – популярный голландский художник и иллюстратор, арестованный за сатирическое отображение Гитлера в своих работах. Находился в Терезине с 1943 года до конца войны.

³³ Над оформлением банкнот трудились Берджих Фритта (Bedřich Fritta) и Петр Кин (Petr Kien).

каменную табличку. Мама объяснила мне, что это должно быть Моисей, а на табличке вытесаны десять заповедей, по которым должны жить люди. Потом немцы выселили из нескольких домов всех жителей, распихав их по нашим и другим казармам, а в вычищенные квартиры завезли нормальную мебель и заселили избранных жильцов, причем не по тридцать человек в комнату, как обычно, а только два-три.

Теперь уже все говорили о том, что в Терезин приедет делегация Красного Креста, и что Красный Крест заберет у немцев лагерь, и мы все будем спасены.

Делегация на самом деле приехала, и я до сего дня помню, как мы в наскоро отремонтированной столовой кушали с тарелок, а не из мисок. На обед был суп с говядиной, телятина с картофелем, огуречный салат и еще шоколадный десерт. Ничего из этого мы ни до, ни после в Терезине не то, что не пробовали, но даже не видели. Делегацию сопровождали несколько эсэсовцев с черепами на фуражках. Некоторых из них мы знали в лицо — они могли избить любого, кто их не поприветствует, у кого не прикреплена звезда или кто им просто не понравится. Мы встали, но они, любезно нам улыбнувшись, показали рукой, чтобы мы снова сели.

Красный Крест не забрал у немцев лагерь, наоборот, ситуация только ухудшилась. Вскоре после этого начали отбывать транспорты в Польшу — раз в два-три дня. Когда ушел тринадцатый транспорт, настало спокойствие. Спокойствие было буквальным, поскольку казармы наполовину опустели — целое гетто казалось полупустым. Очереди исчезли, и по улицам, которые ранее по вечерам заполнялись людьми, практически никто не ходил.

Тогда же дедушка начал кашлять. Он покашливал всегда, поскольку до войны много курил, но теперь этот кашель звучал совсем иначе. Дедушка сильно потел и у него была высокая температура. В конце концов выяснилось, что у него чахотка и он должен был отправиться в больницу,

где в огромном зале складывали людей, которые лежали там до тех пор, пока не умрут. Посещать его мне не разрешалось, чтобы я не заразился, но дедушка даже там смог дожить до начала последнего года войны, иногда посылая нам с кем-нибудь из обследовавшихся ободряющие записки. В них он предсказывал, что мы дождемся освобождения и верил, что снова все вместе встретимся и будем жить лучше, чем жизнь позволила ему.

Когда он умер, мама не могла даже зажечь свечку, поскольку ни единой у нас уже не осталось.

С нами оставалась еще тетя Ирена, иногда помимо лапши приносившая и новости о том, что русские и союзники перешли на западе границу с Германией. Война уже и впрямь подходила к концу – время от времени над нами пролетали целые эскадрильи тяжелых американских бомбардировщиков; небо уже давно принадлежало им, нигде не было видно ни единого немецкого самолета. Выли сирены, и мы с братом всегда выбегали во двор казарм и, пока мы вглядывались в небо, я старался объяснить Янушке, что самолеты обозначают, что война скоро закончится, и мы сможем вернуться домой. Брат начал радоваться, махать самолетам обеими руками или майкой, к которой была пришита звезда. Со двора мы не ушли даже после того, как минуту спустя мы услышали отдаленные взрывы бомб.

Немцы забрали и всех моих друзей. Помню их имена, лица я уже забыл – все одно сегодня они выглядели бы иначе. Вот только у них не было времени ни состариться, ни повзрослеть.

Настоящий друг у меня был только один. Арий – сын председателя так называемого Совета старейшин, то есть самого главного из интернированных (у них единственных из всей казармы было нечто, что напоминало квартиру, причем, обставленную, иногда мы там сидели, болтали или играли в шашки), впрочем, положение отца Ария меня

интересовало мало. (Я видел его всего раз или два – на детей у него не было времени.)

Первый настоящий друг похож на первую настоящую любовь – человек хочет быть с ним рядом, слышать его голос, говорить обо всем, что считает важным или что станет важным потому, что он делится именно с ним. Мы говорили и о том, как развивается война, о друзьях, вынужденных уехать с транспортом и которым мы обещали, что никогда их не забудем. У Ария было несколько книжек, которые он мне одолжил. Одна из них разбирала еврейскую историю. Я не имел ни о ней, ни о еврейской вере, ни о еврейских праздниках ни малейшего понятия, в то время как Арий все это знал – он был воспитан в строгой набожности. Он много знал о судьбах еврейских колоний в Палестине, куда ездил его отец, куда они практически переехали и куда после войны они, скорее всего, переедут, поскольку его папа считает, что там возникнет настоящее еврейское государство. Мы провели вместе множество времени, подробности стусевались. Что осталось, так это чувство до той поры еще непознанной близости. Мне казалось, что в отличие от остальных, которые исчезали в незнакомых местах, куда их отвозили транспорты, Арий исчезнуть не может, раз его отец занимает такое важное место.

Я ошибался. Их все равно увезли, разве что не общим транспортом. Однажды он пришел со мной второпях попрощаться. Тогда он дал мне свою фотографию, чтобы я о нем не забывал. Вдруг испугавшись того, что и он подвластен управляющей здесь всем машине смерти я сказал ему, что ничего *такого* я просто не могу представить, и мы с ним обязательно встретимся вновь, где бы мы ни жили. После войны его фотография несколько лет стояла у меня на письменном столе до тех пор, пока в мое отсутствие мама, не выносившая на дух ничего, что напоминало ей о Терезине, ее не забрала и не уничтожила.

Арий не вернулся, лишь спустя годы я прочел, что он не закончил свою жизнь в газовой камере – его вместе с родителями и его сестрой расстреляли.

2. Комментарий к переводу

2.1 Переводческий анализ текста оригинала

2.1.1 Внетекстовые факторы

Для данной работы был выбран отрывок автобиографии Ивана Климмы «Мой безумный век». Книга вышла в 2009 году в пражском издательстве «Academia» и в том же году заняла второе место в конкурсе «Книга года», проводимом газетой «Лидове новины» и получила в 2010 году премию «Magnesia Litera» в номинации «Документальная проза»¹.

Книга была выбрана в большей степени случайно, с творчеством Ивана Климмы я на тот момент знаком не был. Основанием для выбора стало то, что при первом беглом чтении в глаза бросилась легкость слога автора и довольно интересная тематика произведения.

Выбранный отрывок представляет из себя большую часть первой главы, повествующей о довоенном детстве автора и последующих годах в концентрационном лагере Терезин. Выбор был основан на том, что первая глава в достаточной мере раскрывает стиль и язык автора и знакомит читателя с канвой повествования.

2.1.1.1 Автор произведения

Иван Клима (Иван Каудерс) родился в Праге в 1931 году, во время Второй мировой войны провел три с половиной года в концентрационном лагере Терезин. После окончания войны учился в гимназии, позже поступил на Философский факультет Карлова университета в Праге,

¹ <http://www.academia.cz/ziskana-oceneni-a-nominace.html>

который окончил по специальности чешский язык и литературоведение. Несколько лет работал редактором культурно-просветительского журнала «Цветы» (Květy), позже в крупнейшем издательстве «Чехословацкий писатель» (Československý spisovatel).

В 60-х годах принимал активное участие в организации событий «Пражской весны». В 1969 году уехал в США, где год работал как профессор в Мичиганском университете², где ему, как диссиденту, было предоставлено место. Через год Иван Клима возвращается в Чехословакию.

В 70-х и 80-х годах не издавался, был вынужден искать заработок в рабочих профессиях – таких как дворник, санитар, почтальон и землемер. Тем не менее, его произведения выходили в «самиздате», пользуясь широкой популярностью у чешских эмигрантов³. В середине 90-х годов он стал председателем чешского центра «ПЕН-клуба».

Творчество Ивана Климмы многогранно – среди его произведений есть проза, драмы, репортажи, эссе, фельетоны, рассказы и даже книги для детей⁴.

Само собой, что любая популярность связана с вниманием критиков. Чаще всего автор данных строк встречался с мнением, что Иван Клима отличается излишней описательностью (вплоть до избытка излишних подробностей) и даже банальностью текстов. Впрочем, на примере переводимой книги, данные явления, на мой взгляд, подтверждены не были.

² Там же через два года будет преподавать Иосиф Бродский фактический изгнанный из Советского Союза.

³ <http://www.radio.cz/ru/rubrika/slavija/o-zhiznennom-puti-ivana-klimy>

⁴ Интересно, что в эпоху «нормализации» имя Ивана Климмы официально фигурировало только под сказками в журнале для детей и в титрах к одной серии знаменитого мультфильма Зденека Милера о приключениях крота (конкретнее – серия «Крот и спички» (Krték a zápalky)), где он значился как автор идеи.

2.1.1.2 Жанр и адресат текста

С точки зрения жанра выбранный текст представляет собой мемуары⁵. Отнести текст к автобиографии мешает тот факт, что история личности автора более второстепенна – фокус повествования явно обращен на внешние события. С другой стороны, авторское «Я» все же играет значительную роль, поэтому мы можем с уверенностью утверждать, что данный текст не относится к хроникам.

Из вышесказанного следует, что текст является литературным и подготовленным.

Оригинал в большей мере ориентирован на неподготовленного читателя, знакомого с общеизвестными чешскими историческими и культурными реалиями. Незнакомый читателю жаргон и специфическая лексика за небольшими исключениями⁶ (где значение очевидно из контекста) объясняется.

Адресатом перевода в первую очередь является подготовленный читатель, знакомый с историей Средней Европы в целом и Восточного блока в частности и интересующийся, с одной стороны, более детальными изложениями событий от лица участников и, с другой стороны, жанром мемуаров.

Можно ожидать, что большая часть мировых исторических реалий, затронутых в переводимом отрывке, (Вторая мировая война, концентрационные лагеря, преследование и уничтожение евреев) для

⁵ См., к примеру, соответствующие статьи в книге «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» [001].

⁶ К примеру, стр. 29 оригинала: «Babička Karla onemocněla, měla průtymot <...>»

Очевидно, что речь идет о болезни и позже перечисляются ее симптомы. Интересно, что прочие болезни, упомянутые в отрывке, курсивом не выделяются, поскольку их названия более широко известны. Тем не менее, внешние проявления той или иной болезни, например, скарлатины или сенной лихорадки всегда упоминаются.

русского читателя будет знакомой. Культурные реалии Чехословакии безусловно будут нуждаться хотя бы в минимальном пояснении.

2.1.1.3 Функция текста

Основными функциями текста являются реферативная и экспрессивная. Целью автора было ознакомить читателя с миром того времени, и одновременно с этим передать ощущение неправильности, безумия происходящего, показать восприятие и где-то непонимание ребенком тех вещей, которые зачастую не понимали или не хотели понимать зрелые люди, «взрослые». В тексте сильно заметна и эстетическая функция – небольшие отступления с описанием обстановки, деталей, людей, казалось бы не имеют прямого отношения к повествованию, но, на деле, они дорисовывают картину происходящего, создают атмосферу повествования и удерживают внимание читателя произведения (т.е., эстетическая функция в определенной мере связана с контактоустанавливающей).

В переводе можно ожидать сдвиг в сторону реферативной функции, поскольку даст возможность читателю ознакомиться с новой для него средой.

2.1.2 Внутритекстовые факторы

2.1.2.1 Название

Название книги относится к т.н. названиям символическим, передающим проблематику или атмосферу книги не описательно, а образным выражением темы. Данные названия получили распространение в эпоху капитализма, когда «литература становится товаром, а название

рекламой»⁷. Два основных требования к данному виду названий книги – легко запоминаться и быть выразительным. «*Moje šílené století*» возможно перевести рядом способов (Мое блаженное столетие, Моя чокнутая эпоха и т.д.). Название «Мой безумный век», выбранное для данного перевода, помимо его благозвучности, перекликается с известным произведением А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в *мой жестокий век* восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Отдельные главы названия не имеют, однако каждая глава завершается неким эссе на тему описываемых событий. Каждое эссе имеет свое название. Подобный подход нечасто встречается в отечественной литературе⁸, однако безусловно имеет смысл его сохранить, как неотъемлемую часть структуры оригинала.

Например, переводимая глава заканчивается эссе с названием «*O mezní zkušnosti*», что могло бы быть переведено как «Опыт жизни на контрастах» (вариант «Об опыте жизни...» с фонетической точки зрения представляется неудачным – «*Обопыте жизни...*»).

Возможно, является целесообразным превратить названия эссе в названия соответствующих им глав (поскольку все названия коррелируют с содержанием), но в таком случае будет необходимо решить вопрос отделения самих эссе от текста повествования.

⁷ Иржи Левый «Искусство перевода», пер. Вл. Россельса, Прогресс, М. 1974, стр. 127

⁸ В чешской литературе же можно, к примеру, вспомнить повесть Петра Шабаха «Удостоверение личности» (*Občanský průkaz*), в которой время от времени встречались т.н. интермеццо, в которых автор меняет структуру повествования и, к примеру, комментирует эпоху или перемещает действие романа.

2.1.2.2 Построение текста

Каждая глава разбита на несколько пронумерованных частей (в перевод вошли четыре части из шести, составляющих первую главу), отделяющих определенные отрезки повествования, что сохранено в переводе.

2.1.2.3 Стиль

Произведение написано художественным стилем, хотя оно и знакомит читателя со множеством исторических фактов, что является оптимальным для выражения основных его функций, упомянутых выше. В тексте можно заметить и следы публицистического стиля, что является логичным, учитывая разносторонность творчества автора.

Можно условно выделить два уровня текста – исторически релевантные части перемежаются с описательными с более выраженной эмоциональной и эстетической окраской. При этом на протяжении отрывка видно ослабление эмоциональности текста и повышение его описательности, информативности.

Язык произведения является литературным. Можно отметить ряд слов с выраженной книжной окраской: *mohutné koni*, *velice*, *obrovitý*, *kanou slzu*, *ortel* и т.д.

Поскольку повествование касается детства автора, в оригинале можно встретить множество уменьшительных форм (деминутивов): *maličká zahrádka*, *lesíky*, *jemňounce*, *vesnička*, *kousíček*, *byteček*, *parčík*, *místnůstka*, *uzoučký šedivý knírek* и т.п. Также это касается детской лексики: *léčil motory a stroje...*

Определенная часть глаголов в оригинале несет оттенок архаичности: *spával, bývaly, vídal, čítávala* и т.д. Также встречаются подобные существительные: *Nový Rok* (а не *Silvestr*), *suchotiny (tuberkulóza)*.

Можно отметить религиозный парафраз Второго послания к Коринфянам Апостола Павла:

...je jeho Synem a svou smrtí na kříži všechny lidi, tedy i mě, vysvobodí z hříchu a z náručí smrti... (Ориг., стр. 17)

Оригинал послания: «Он nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí». Решение данного парафраза в переводе будет приведено далее.

2.1.2.4 Синтаксис

Для оригинала характерны объемные сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с преобладающей бессоюзной связью. Основной тип предложения – декларативный (повествовательный), при этом, вопросительные, восклицательные и побудительные предложения практически отсутствуют.

Ввиду сложной конструкции и объемности предложений, довольно нехарактерной для чешского языка, местами текст довольно сложен для восприятия. Автор не использует сноски, предпочитая дополнять или уточнять информацию в скобках в самом тексте.

Tatínek málokdy mluvil o svém dětství (vůbec toho s námi moc nenamluvil, přišel domů, najedl se, sedl si k psacímu stolu a počítal vinutí svých motorů), ale vím, že když mu bylo třináct let, přišel o otce; babička mohla vystačit s maličkou penzí jen proto, že její švagr (jediný bohatý příbuzný) je nechal zdarma bydlet v domku kousek za Prahou, který dokonce koupil kvůli nim.

(Ориг., стр. 14).

Также для оригинала характерно частое употребление вводных слов:
...protože ji prý měl Masaryk rád. (Ориг., стр. 15).

2.1.2.5 Лексика и невербальные средства

Говоря о лексике оригинала стоит еще раз отметить, что книга написана литературным языком.

В тексте встречаются метафоры:

...klobouk <...> se podoben velkému ptáku snáší dolů a usedá přímo na vagon s uhlím... (Ориг., стр. 12)

или:

...střecha, podobná černošlé stvoře... (Ориг., стр. 11),

персонификация:

...pevnost, která měla naši zem chránit proti Němcům, ale nikdy <...> se o to ani nepokusila. (Ориг., стр. 21)

...stavu nevědomí, které spánek přinášel... (Ориг., стр. 13)

аллегория:

...bludišti Tacitových či Liviových vět... (Ориг., стр. 14)

и даже силлепс:

...vrstva sněhu zvolna narůstá a s ní i naděje na sáňkování... (Ориг., стр. 11),

однако, как можно заметить, они относятся лишь к первой части главы – беззаботному детству. В дальнейшем можно говорить о том, что автор избегает фигур речи, предоставляя фактам говорить за себя.

Однако наряду со словами, несущими оттенок книжности, в тексте присутствует лексика более низкого разговорного стиля (деминутивы,

лагерная лексика): *kumpán, čuník, pacholek* (в значении ругательства), *malér, šahal, polívka, esšálek, fošna, esesáci, marodka* и т.п.

Некоторые слова автор выделяет курсивом, таким образом показывая новые понятия для ребенка (поскольку в первой главе он, как было упомянуто выше, описывает свои детские воспоминания): *Židy, gestapo, árijka, myom*, и т.п. Особняком стоит фраза:

...krást (řikal šlojsnout, což znamenalo totěž)... (Ориг., стр. 27), ввиду того, что происхождение и употребление этого слова пришлось искать в литературе посвященной концлагерям в целом, и Терезину в частности. Более подробно данный момент будет рассмотрен позже.

2.2 Переводческая концепция

Данный перевод позиционируется как отрывок из книги Ивана Климмы «*Moje šílené století*». Коммуникационные ситуации, в целом, похожи, но читатели перевода дополнительно почерпнут для себя массу информации о Чехословакии того периода.

Перевод ориентирован на читателя с базовыми знаниями из области истории того периода и предполагает, что читатель не знаком с культурой Чехословакии в целом и Чехии в частности. Пояснения большей частью проводятся путем сносок внизу страницы. По результатам опросов (см., к примеру, [N1]), данный вид сносок более функционален (нет необходимости постоянно листать книгу при большом количестве сносок), нежели затекстовые примечания. Внутритекстовые пояснения также сведены к минимуму с целью более точной передачи авторского стиля.

Для перевода выбран художественный стиль с сохранением оттенка публицистики. Главной задачей установлена передача как доминирующей информативной функции, так и вторичной эстетической с сохранением

заданного эмоционального тона. Авторские синтаксические конструкции довольно близки русскому языку, поэтому было принято решение об их передаче (с учетом добавления причастных и деепричастных оборотов, нехарактерных для современного чешского языка).

В переводе необходимо подробнее рассказать не только о незнакомых географических названиях и исторических личностях, но и раскрыть реалии (к примеру, объяснить специфику чешских вилл или празднования Рождества).

В процессе переводы необходимо учитывать две нормы: норму воспроизведения (критерий верности, постижения) и норму художественности (критерий красоты). Необходимо учитывать т.н. *перспективу*: у читателя перевода будет иной ценз знаний и эстетического опыта, нежели был у читателя оригинала. Переводческая перспектива особенно важна при поисках стилистических эквивалентов. Сохранение стиля – требование весьма проблематичное и неосуществимое в полной мере ([01], стр. 69-70). В данной работе сохранение стиля решается путем сохранения формальных приемов подлинника.

2.3 Методика перевода

Целью перевода является создание репрезентации, функционального эквивалента исходного текста. Как было указано выше, текст носит в первую очередь информативный характер с выраженным эстетическим компонентом. Главной целью перевода было максимально точная передача оригинала. В случае с мемуарами использование локализации или же актуализации не представляется желаемым, вместо этого предпочтительнее разъяснять необходимые реалии.

Тем не менее, наличие эстетического уровня в тексте предполагает использование и вольного типа перевода (согласно [01]) для адаптации

соответствующих отрывков. Необходимо подчеркнуть, что адаптация коснулась только стилистики, но никак не реалий.

2.4 Примеры решения переводческих проблем

2.4.1 Решение переводческих проблем на уровне лексики

Для большинства исторической терминологии и слов, которые ребенок слышит впервые, встречающихся у автора с обозначением курсивом был выбран путь сохранения графического выделения и перевод с сохранением терминологичности: *tuom* – *миома*, *árijka* – *арийка*, и т.д.

С учетом этого и для сохранения колорита на уровне лексики было выбрано значение слова *ubikase*. Несмотря на то, что в словаре [003] приводится его значение «казарма, общежитие, барак», в переводе использовано «убикация», поскольку оно позволяет отделить реалии книги от реалии России времен СССР. Данное значение также встречается в тематической литературе [05].

Наоборот, решение в пользу реалий советских концлагерей было выбрано в случае слова *šlojsnout* (встречаемого и в [04] в форме сленгового «шлойска» – шлюз, помещение для досмотра заключенных([04], стр. 30)):

...musí krást (řikal šlojsnout, což znamenalo totěž)... (Ориг., стр.27)

...должен был красть (он сказал сбондить, что обозначало тоже самое)...

Для придания речи «лагерного» колорита был изучен ряд тематической литературы и выбрано слово «сбондить». В книге Жака Росси [06], посвященной лексикону ГУЛага, был найден подходящий нормативный (очевидно, что ненормативная лексика резко бы выбивалась из общего стиля повествования) эквивалент с определенной исторической окраской.

Только описательным образом можно перевести слово *prominent*:
...do Magdeburských kasáren, kde bydlelo hodně prominentů.
...в Магдебургские казармы, вобравшие в себя множество видных деятелей культуры, науки и искусства.

Поскольку *prominent* обозначает видного деятеля какой-либо сферы, необходимо было найти кто же именно был «представлен» в Терезине. С помощью литературы, посвященной проблеме (например [05]), удалось найти, что в Магдебургских казармах находились люди искусства и науки – помимо описанных в книге картин и театра, в Терезине читались лекции (подтверждения этому удалось найти и в интернете, к примеру, [N4] и [N5])

В переводе в ряде случаев использован антонимический перевод:
Byl jsem šťastné dítě, jemuž nehrozil hlad a které bylo obklopeno láskou.
(Ориг., стр. 9)
Я был счастливый ребенок – сытый и окруженный заботой.

2.4.2 Решение переводческих проблем на уровне синтаксиса

Синтаксис автора в большинстве случаев был сохранен как на уровне отдельных предложений, так и на уровне общей структуры текста (разделение на абзацы).

В нескольких случаях изменения коснулись деления текста на предложения.

Mému vyprávění se zasmála, ačkoliv na něm nebylo nic směšného (tehdy jsem ještě nevěděl, že děvčata se smějí, aby dala najevo zájem, sympatie anebo aspoň

fakt, že naslouchala), a pak kdykoliv mě mýjela, pohladila mě a opět se přitom usmála. (Ориг., стр. 24)

Она рассмеялась, хотя в моем рассказе не было ничего смешного (тогда я еще не знал, что девушки смеются, показывая свой интерес, симпатию или хотя бы просто тот факт, что они слушают). После этого всякий раз, когда она проходила мимо, она нежно меня касалась, снова смеясь при этом.

В данном случае можно выделить последнюю часть в отдельное предложение, поскольку она является суммирующей для всего абзаца. После нее еще идет предложение о судьбе девушки, которое можно охарактеризовать как завершение судьбы персонажа в канве повествования.

Можно отметить небольшие изменения, связанные с переносом отдельных слов для улучшения восприятия текста читателем, например:

...kipodivni (nejspíš jen výjimečně) i Národní politika... (Ориг., стр. 9)

...к моему удивлению «Народни политику» (покупавшуюся, скорее всего, в исключительных случаях)...

или

Дальнейшая жизнь моя...

Данный порядок слов является необычным ввиду постпозиции местоимения «*моя*», однако несет оттенок поэтичности, уместный в данном месте.

2.4.3 Решение переводческих проблем на уровне стилистики

Исходный отрывок первой главы разделен на четыре части. Можно заметить, что эмоциональность и эстетический компонент в тексте постепенно сменяются описательностью – части, касающиеся Терезина

представлены чистыми фактами, автор предоставляет читателю сформировать свое отношение к происходящему.

В чешском тексте отсутствуют причастные и деепричастные конструкции, поскольку они являются для чешского языка устаревшими и имеют оттенок архаичности. Для русского читателя их отсутствие было бы необычным, поэтому перевод насыщен ими.

Tatínek měl zlozvyk, který velice zlobil maminku. (Ориг., стр. 12)

У папы была дурная привычка, весьма злившая маму.

Как было сказано ранее, у автора встречается парафраз Второго послания к Коринфянам:

...je jeho Synem a svou smrtí na kříži všechny lidi, tedy i mě, vysvobodí z hříchu a z náručí smrti... (Ориг., стр. 17)

...он его Сын и своей смертью на кресте избавил от столь близкой смерти всех людей...

Перевод также произведен парафразом русского перевода Послания.

2.4.4 Решение переводческих проблем на уровне прагматики

Как упоминалось ранее, читатель перевода имеет знания по истории Европы, но Чехословакия в целом и Чехия в частности ему малознакомы или вообще неизвестны. Поэтому общеисторические реалии как *гестапо* не были разъяснены и к ним не приводятся сноски.

Имена собственные были транскрибированы в соответствии с устоявшимися нормами и с учетом их употребляемости, например, *Vilda* был переведен как *Вилда* и, поскольку не встречается в дальнейшем тексте, то необходимости в сноске с полным именем нет. Напротив, имя брата автора, встречающееся как *Jan*, *Jeniček*, *Jenda* было переведено таким

образом, чтобы читатель понимал, что речь идет об одном и том же человеке, т.е. *Ян, Янушка и Яник*.

...bývaly doma Lidovky <...> Národní politika, nikoli Rudé právo či Právo lidu... (Ориг., стр. 9)

Названия газет были переведены в соответствии с устоявшимися еще в период СССР традициями. Домашнюю форму «Лидовки» было решено оставить для колорита, с сноской с полным названием газеты.

Внутритекстовые примечания (*коммунистическое «Руде право»*) были добавлены в соответствии с рекомендациями Иржи Левого: «Подстрочные примечания в таких случаях непригодны не только потому, что нарушают процесс чтения, но и по гораздо более важной причине: семантическая единица, органический компонент произведения, выносится таким образом за его пределы, попадает в издательский аппарат книги. Гораздо меньшим уроном грозит произведению пояснение в самом тексте: «выписывает либеральную» «Конститюсьонель», «шел в королевский дворец Уайтхолл» и т. п.» ([01], стр. 100-101).

В тексте встречается и менее распространенная периодика – приключенческие романы в тетрадах. Традиции перевода названий тетрадей «*Rodokaps*», «*Rozruch*» и «*Divoký západ*» на русский язык не существует. В случае с серией «*Divoký západ*» решение было наиболее очевидным – «*Дикий Запад*».

С «*Rozruch*» чуть сложнее – обложка данных тетрадей представляет из себя (как можно увидеть в букинистических магазинах) картинку с напряженной сценой (к примеру, дуэль двух ковбоев) с надписью «*Rozruch!*» (т.е. некая напряженная ситуация, исход которой неизвестен для читателя и, тем самым, привлекая его купить выпуск и узнать конец). Варианты *волнение*, *смятение*, *тревога*, являющиеся дословным переводом слова *rozruch* не подходили по стилистике. Выбранное слово

«переполох» согласно [002] и [003] имеет семантику «внезапное состояние сильной взволнованности», что в целом отвечает ситуации.

Наиболее сложное решение с тетрадами «*Rodokaps*». Само слово является сокращением «*Román do kapsy*», т.е. «карманный роман», к тому же ситуация осложняется, что слово позже становится нарицательным для подобных произведений. Вариант с созданием некоего нового сокращения (*КарЖур* или *ЖурВКар*) представляется абсурдным, поэтому, несмотря на перевод двух названий журналов из трех, было решено транскрибировать оригинальное название «*Родокапс*». Интересно, что уже после нахождения этого решения, было найдено упоминание об этом журнале в русских субтитрах к сериалу 1983 года «*Návštěvníci*» [N3]. Решение было аналогичным, однако невозможно узнать, было ли это решение следствием подобного хода мысли или же простой транскрипцией незнакомого чешского слова.

К внутритекстовым примечаниям относится и:

...místo, které neztratil ani během velké krize... (Ориг., стр. 15)

...место, которое сохранил за собой и во время мирового экономического кризиса, начавшегося в конце 20-х годов...

Часто в литературе встречается термин Великая депрессия, однако он в первую очередь относится к США.

Для части реалий сноски не даются – там, где значение слова понятно из контекста. К примеру,

...se učila latinu <...> v bludišti Tacitových či Liviových vět orientovala lépe než já... (Ориг., стр. 14)

Из контекста понятно, что Тацит и Ливий относятся к авторам высказываний на латыни, более подробная информация о них, как о личностях, была бы просто избыточной.

В оригинале встречается стихотворение, перевод которого также имеет стихотворную форму:

Naše prase / všechno spase / a už papalo by zase. (Ориг., стр. 26)

Наш свиненок на лугу / Пощипал всю-всю траву / Кушать хочет и сейчас / Не оставил про запас.

Для этого небольшого стихотворения из 9 слов было написано не менее 5 вариантов от 3 строчек до 2 четверостиший. Один, к примеру, рассматривал слово *spase* и проводил параллели с Армией спасения (*Armáda spásy*): *Наша свинка / Всех спасла / Снова кушать бы пошла.* Конечным решением стал вариант с семантикой «все съела и еще хочет», развернутый в четверостишие как в более привычную для русского читателя стихотворную форму.

2.5 Типология переводческих сдвигов

Выбор методики и стратегии перевода был произведен согласно рекомендациям Иржи Левого. Согласно его книге ([01], стр. 116 и далее) для перевода характерны три типа стилистического обеднения: 1) употребление общего понятия вместо конкретного, иначе говоря замена видового понятия родовым (генерализация или деконкретизация), 2) употребление стилистически нейтрального слова вместо эмоционально окрашенного и 3) недостаточное использование синонимии.

В своем роде обратным явлением может являться изложение текста переводчиком вместо его перевода, т.н. интеллектуализация, проявляющаяся в: 1) логизации текста, 2) изложении недосказанного и 3) формальном воспроизведении синтаксических связей.

Основная черта переводческой психологии – объяснительство, что, в конечном счете, ведет к ослаблению эстетической функции и усилению информационной.

2.5.1 Сдвиги на уровне лексики

У некоторых слов была использована стилистическая адаптация: *hostinec* – *постоялый двор* (по функции, вместо *трактир*), *tahoun* – *битюг* (вместо нейтрального *лошадь*, *трудяга*, или без функции *сивка*), *netos* – *недуг* (вместо более нейтрального *болезнь*), *lidumil* – *добрый самаритянин* (*филантроп* в российских реалиях воспринимается в первую очередь в контексте денежных пожертвований) и т.п.

С той же целью было необходимо прибегнуть к конкретизации:
...*jak plivne lokomotivě přímo do kotína*. (Ориг., стр. 12)

...как плюнет паровозу прямо в трубу.

Общеизвестно, что паровоз это автономный локомотив с паросиловой установкой, т.е. труба является атрибутом именно этого типа локомотивов. В то же время, слово *локомотив* в первую очередь вызовет у читателя представление некоего электровоза. С другой стороны, в предложении

Motory byly velice důležité, protože poháněly lokomotivu (Ориг., стр. 12)

подобную замену провести нельзя, поскольку наличие мотора указывает, что локомотив относится к тепловозам, а конкретизация в данном случае была бы совершенно лишней.

Дальнейший пример конкретизации:

...*opravit nějakou elektřinu*... (Ориг., стр. 22)

...*починить какую-то проводку*...

Данный выбор основывается на том, что слово «*проводка*» может использоваться в значении «*нечто, связанное с электричеством*».

К сдвигам на уровне лексики можно отнести адаптацию некоторых отрывков:

...*kde ho jako v temném žaláři drží co nejdále od rodičů*... (Ориг., стр. 13)

...*где его, как в темнице сырой, держат как можно дальше от родителей*...

Перевод исходит из предположений, что *temný žalář* может вызвать у читателя оригинала возможную ассоциацию с книгой Ивана Олбрахта «*Žalář nejtemnější*». В связи с этим был выбран вариант «...*в темнице сырой*...», который также может вызвать ассоциацию с произведением А.С.Пушкина «Узник» в котором есть строки:

Сижу за решеткой в темнице сырой.

Вскормленный в неволе орел молодой...

Интересное обоснование адаптации можно привести в случае:

...její otec Josef <...> její matka Karla... (Ориг., стр. 13)

...мой дедушка Йозеф <...> моя бабушка Карла...

Если оставить «...ее мама Карла...», то возникает необычная и ненужная ассоциация с героем произведения А.Н.Толстого «Буратино» – папой Карло. Замена точки зрения с мамы на сына позволяет избавиться от этой ассоциации без ущерба для текста.

Замену стилистически окрашенного слова нейтральным можно проследить по отрывку:

Maminka <...> vyváděla mě na dlouhé procházky...

Мама <...> подолгу со мной гуляла...

Слово *vyváděla* имеет оттенок заботы о некоем (v. děti aprílem, kosi v. mladé - Slovník spisovného jazyka českého, <http://ssjc.ujc.cas.cz/> [N2]), в то время как русский аналог этот оттенок не содержит.

Замену исходной информации можно видеть в отрывке:

*Hrávali jsme i v**ybíjenou** a **okýnka*** (Ориг., стр. 26)

*Мы играли и в **вышибал**, и в **салочки**...*

Во время перевода не удалось найти упоминаний в специальной литературе и правил игры *okýnka*, поэтому была выбрана игра, не упоминающаяся в тексте, достаточно распространенная и не требующая специального инвентаря.

2.5.2 Сдвиги на уровне синтаксиса

Несмотря на изначальное стремление сохранить оригинальную синтаксическую конструкцию текста, на этом уровне произошел ряд сдвигов, выражающихся в интеллектуализации.

Некоторые части текста было необходимо развернуть для подчеркивания значимости эстетической функции в данном отрывке:

...byl nádherně a průsvitně bělavý. (Ориг., стр. 9-10)

...он очаровывал меня своей полупрозрачной белизной.

Иногда изложение недосказанного было необходимо в соответствии с правилами языка:

...musíme odtud! (Ориг., стр. 18)

...нам нужно отсюда исчезнуть!

2.5.3 Сдвиги на уровне прагматики

На уровне прагматики тоже можно отметить ряд интеллектуализаций:

...zrovna když přejížděla koleje, motor zhasl <...> Za námi se zvolna hromadily tramvaje... (Ориг., стр. 15)

она переезжала трамвайные пути <...> Потихоньку начал выстраиваться хвост <...> трамваев...

«За нами» выпущено из соображений того, что если заглохнуть при переезде путей, то невозможна ситуация, когда бы трамваи выстраивались бы за автомобилем, только сбоку от него. При выпущении данной детали отрывок становится более логичным без ущерба смыслу.

Также было необходимо прибегнуть к интеллектуализации в следующем отрывке:

Ležel jsem a dlouho zíral do jeho tmy, která už nikdy neměla ustoupit světlu.
(Ориг., стр. 10)

Я лежал и долго всматривался в подступившую тьму, которая могла поглотить его и больше никогда не отступить.

Речь очевидно идет о смерти, которая угрожала отцу автора, аллегорично отображенной в образе тьмы и о жизни в образе света. Поскольку при прямом переводе «...я лежал и смотрел в его тьму...» читатель из-за резкого перехода от описательной части к художественной конструкции может просто впасть в недоумение, было произведена интеллектуализация.

Можно отметить и вынужденную генерализацию:

Na zahradě hnízdili ptáci: hlavně kosi a drozdi. (Ориг., стр. 11)

В саду гнездились птицы, в основном разнообразные виды дроздов.

Данное решение связано с тем, что чешское *kos* обозначает *черного дрозда* (подвид *Turdus merula*, входящий в вид *Turdus*, т.е. дрозды) и употребление в одном контексте вида и подвида (*дрозды и черные дрозды* или же *черные и иные дрозды*) не представляется возможным, то было проведено обобщение, компенсируемое тем, что в следующем предложении упоминается именно черный дрозд.

Ряд сдвигов можно отметить в отрывке:

...prarodiče dbali o vzdělání svých dětí, jedna z tet se stala první českou inženýrkou chemie... (Ориг., стр. 14)

...бабушка с дедушкой следили за тем, чтобы их дети получили достойное образование – одна из маминых сестер стала первой женщиной-инженером химии в Чехии...

Во-первых, *prarodiče* необходимо заменить конкретным *бабушка с дедушкой*, поскольку *praroditel* в русском языке обозначает *родоначальник* (см. [002]), т.е. произвести конкретизацию. Во-вторых, необходимо раскрыть глагол *dbali o vzdělání* в более привычную описательную форму, т.е. интеллектуализовать текст. В-третьих, *jedna z tet* меняется на *одна из маминых сестер*, поскольку форма *tet* в русском языке встречается крайне редко и не является удобочитаемой. В-четвертых, чешское *inženýrka* не может быть представлена в русском языке как существительное женского рода, поскольку в русском языке для женского рода нет параллельных соответствий для большинстве профессий в мужском роде.

Похожее изменение можно отметить в:

...když nás přišla babička vdova navštívit i s tetou... (Ориг., стр. 16)

...когда к нам в гости пришла моя бабушка по папиной линии вместе с тетей...

Заключение

Целью данной работы было создание функционального эквивалента исходного текста, максимально приближенного к его объективной сущности, при минимизации субъективного вмешательства в текст. Созданный перевод необходимо было дополнить комментарием с описанием проблем при переводе, стратегии их решений и неизбежных сдвигов. После анализа исходного текста была выработана общая концепция и методика перевода с учетом вероятного читателя.

Перевод может служить как репрезентация оригинала для некоего издательства, заинтересованного в выпуске на русском языке литературы подобного типа.

Основным фактором при решении задач было сохранение функций произведения: главных – реферативной и экспрессивной, и вторичной – эстетической.

Библиография

Основная литература

1. Ivan Klíma «Moje šílené století», Praha, Academia, 2011 ISBN 978-80-200-1697-3

Дополнительная литература

01. Левый И. «Искусство перевода», пер. Вл. Россельса, М.: Прогресс, 1974

02. Голуб И.Б., Стилистика современного русского языка. М.: Айрис-Пресс, 1997.

03. Комиссаров В.Н. Слово о переводе, М: Международные отношения, 1973.

04. Е. Макарова, С. Макаров. Крепость над бездной. Книга вторая. Я – блуждающий ребенок. Дети и учителя в Терезине, 1941 – 1945. М.: Мосты культуры, 2004 ISBN 5-93273-183-4

05. Е. Макарова, С. Макаров. Крепость над бездной. Книга третья. Терезинские лекции, 1941 – 1945. М.: Мосты культуры, 2006 ISBN 5-93273-1219-9

06. Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. — М.: Просвет, 1991.

07. А.С. Пушкин, Избранное, М: Эксмо, 2006 ISBN 978-5-699-03568-7

Словари и пособия

001. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

002. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000

003. Velký česko-ruský slovník. M. Votavová, LEDA spol. s.r.o., Voznice, 2006

004. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 2000.

Электронные ресурсы

Название – [Электронный ресурс] – ссылка – Режим доступа: Свободный

N1. Примечания переводчика в художественном переводе [Электронный ресурс] <http://goo.gl/G1bHW> Режим доступа: Свободный

N2. Slovník spisovného jazyka českého [Электронный ресурс] <http://ssjc.ujc.cas.cz/> Режим доступа: Свободный

N3. Субтитры к фильмам [Электронный ресурс] <http://46.4.90.185/allsubs/card/11293-gosti.html> Режим доступа: Свободный

N4. Газета "іностранец" [Электронный ресурс] http://www.inostranets.ru/archive/2003/0422_14/ Режим доступа: Свободный

N5. Живой Журнал [Электронный ресурс] <http://alelchuk.livejournal.com/49653.html> Режим доступа: Свободный

N6. Дети в гетто во время Холокоста [Электронный ресурс] <http://ghetto.galim.org.il/rus/> Режим доступа: Свободный

N7. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла [Электронный ресурс] http://days.pravoslavie.ru/Bible/B_2_kor1.htm Режим доступа: Свободный

Оглавление

1.	Перевод	4
2.	Комментарий к переводу	37
2.1	Переводческий анализ текста оригинала	37
2.1.1	Внетекстовые факторы	37
2.1.1.1	Автор произведения	37
2.1.1.2	Жанр и адресат текста	39
2.1.1.3	Функция текста	40
2.1.2	Внутритекстовые факторы	40
2.1.2.1	Название	40
2.1.2.2	Построение текста	42
2.1.2.3	Стиль	42
2.1.2.4	Синтаксис	43
2.1.2.5	Лексика и невербальные средства	44
2.2	Переводческая концепция	45
2.3	Методика перевода	46
2.4	Примеры решения переводческих проблем	47
2.4.1	Решение переводческих проблем на уровне лексики	47
2.4.2	Решение переводческих проблем на уровне синтаксиса	48
2.4.3	Решение переводческих проблем на уровне стилистики	49
2.4.4	Решение переводческих проблем на уровне прагматики	50
2.5	Типология переводческих сдвигов	54
2.5.1	Сдвиги на уровне лексики	54
2.5.2	Сдвиги на уровне синтаксиса	57
2.5.3	Сдвиги на уровне прагматики	57
	Заключение	59
	Библиография	61

Приложение: текст оригинала

KAPITOLA PRVNÍ

1.

První vzpomínka, kterou mi má paměť zachovala, se týká čehosi zcela nepodstatného: maminka mě vzala na nákup dolů do Vysočan a požádala mě, abych jí připomněl, že má tatínkovi koupit noviny. Byl to pro mě tak důležitý úkol, že si jej pamatuji dodnes. Jak se ty noviny jmenovaly, jsem neměl ponětí. Ale když jsem byl o něco starší a uměl už trochu číst, bývaly doma Lidovky a kupodivu (nejspíš jen výjimečně) i Národní politika, nikoli Rudé právo či Právo lidu. O to, koho rodiče volili, jsem se nestaral. Byl jsem šťastné dítě, jemuž nehrozil hlad a které bylo obklopeno láskou.

Do mých sedmi let jsme bydleli ve vilce, která stála téměř osaměle v kopci, kudy vedla silnice z Vysočan do Kbel. Nad námi už byl jen zájezdní hostinec, pod námi ještě jedna vilka. Zájezdní hostinec byl nejzajímavějším místem, zastavovali tu vozkové se svými povozy a mohutnými koňmi. Ještě než vozkové odešli do hlučného výčepu (kam jsem měl zakázáno vkročit), obsloužili své tahouny vědrem vody anebo jim přivázali pytel s krmením. Na sklonku zimy navázeli do hospody mohutné kusy ledu, které skládali do sklepa. Od ledu

studeně válo a byl nádherně a průsvitně bělavý. Postával jsem stranou a chvílemi kradmo nahlížel do zakázaného výčepu, odkud páchly ohříváné buřty a tabákový kouř.

Pamatuji si dodnes jména majitelů všech tří vilek, ale nemá smysl je připomínat, s nikým z těch, kdo tu tehdy bydleli, jsem se už nikdy nesetkal. Ti tehdy dospělí už jistě dávno nežijí a Vilda, chlapec jen o málo starší než já, co bydlel ve vilce pod námi, zemřel v době, kdy jsme tam žili, na zapal plic, tehdy se na to ještě umíralo. Tu strašlivou nemoc dostal, protože se uhřál a napil se studené vody. Maminka mi tuto příčinu nemoci mnohokrát varovně opakovala. Bylo to mé první setkání se smrtí, pamatuji se na svůj úžas, že někdo jeden den je, pak náhle zmizí a už nikdy se neobjeví, a to všechno jen proto, že se uhřátý napil studené vody. Také jsem se začal pozorovat a hledat na sobě známky zhoubné nemoci, a bedlivě jsem sledoval svůj stav dřív, než jsem se napil, ale jak tomu bývá v tomhle věku, za chvíli jsem na cizí smrt zapomněl. Pak tutéž nemoc dostal tatínek, i když se neuhřál ani se nenapil studené vody. Ulehl s vysokou horečkou a v zimnici jektal zuby. Přijela babička a hned po ní pan doktor Pfeifer, o němž jsem už předtím slyšel, že je lidumil, co přijde i uprostřed noci a léčí chudé pacienty zdarma. Já k tatínkovi nesměl, ale maminka vyšla celá bledá, máčela ve vane prostěradlo a babičce říkala, že pan doktor předpověděl během noci krizi, a když ji tatínek přečká, bude to pak už dobré. Ted mu dá zábal a my všichni musíme doufat.

A co by se stalo, kdyby ji tatínek nepřechkal? Nedovedl jsem si představit, že by snad i tatínek mohl umřít a už nikdy nebýt. Ležel jsem a dlouho zíral do jeho tmy, která už nikdy neměla ustoupit světlu. Tatínek krizi přečkal, protože byl silný a býval skautem. Už za dva dny stál v koupelně a břitvou si odřezával své přerostlé vousy.

Ve vilce, kde jsme bydleli, žili kromě paní domácí ještě její dcera, zeť a vnučka. Také lovecký pes s velmi onošeným jménem Lord a několik mourovatých koček, na jejichž jména si nevzpomínám. Na zahradě hnízdili ptáci: hlavně kosi a drozdi. Je to zvláštní, že ve věku čtyř či pěti let má člověk zdánlivě neomezené množství času a může třeba celou hodinu pozorovat, jak kos poskakuje po trávníku tak dlouho, až vítězně vyrve ze země dešťovku a letí s ní k hnízdu v hustém jalovcovém keři, anebo jak na černou střechu sousedovy kůlny dopadají sněhové vločky, které ta střecha, podobná černošavlí stvůře, hltavě polyká, až najednou se zahltlí a sníh zvolna zakryje temnou střešní lepenku. To se mi líbilo, sledoval jsem, jak vrstva sněhu zvolna narůstá a s ní i naděje na sáňkování.

Naše vilka mi připadala velká, zahrada dokonce obrovská, ve skutečnosti, jak jsem shledal, když jsem se tam šel po letech podívat, to byl velice skromný domek s maličkou zahrádkou. V domku si rodiče pronajali dva pokoje a kuchyň. Z okna pokoje, kde jsem spával, byl rozhled do údolí, kudy čas od času projížděl vlak, a na dně údolí stejně jako na protilehlých úbočích trčely k nebi obrovité komíny, které se mi líbily. Byly jako živé a vypouštěly k nebi stejně jako lokomotivy sloupce temného dýmu. Všude okolo se rozprostíraly louky, lesíky i houštiny keřů. Když stromy a keře na jaře rozkvetly, začal jsem kýchat a oči mi zrudly a v noci se mi těžko dýchalo. Maminka se vyděsila, měřila mi teplotu a nutila mne polykat prášky, po nichž jsem se měl potit, pak odvedla k doktorovi, a ten řekl, že to není nic vážného, senná rýma, je pravděpodobné, že mě bude trápit pokaždé, když přijde jaro. A v tom se opravdu nemýlil.

V jedné z továren, které se říkalo Kolbenka, pracoval tatínek Byl inženýrem a doktorem, nikoliv však doktorem, co

léčí lidi, jak mi vysvětlila maminka. Léčil motory a stroje, dokonce některé vymýšlel. Motory byly velice důležité, protože poháněly lokomotivy, auta a vyráběly elektřinu, kterou jsme svítili. Jeden ze strojů, který tatínek vymyslel, zase dokázal spojit dohromady dva kovy, říkalo se tomu sváření. Tatínek mi připadal velký, silný a hlavu mu zdobila nádherná houština černých vlasů. Každé ráno se holil břitvou, které jsem se nesměl ani dotknout. Ještě než se začal mydlit, břitvu dlouze obtahoval na kusu řemene a tím ji ostřil. Abych si uvědomil její strašlivou ostrost, vzal ze stolu rohlík a jen jemňounce tím nebezpečným nástrojem máchl a vrchní půlka rohlíku klesla k zemi. Jednou, předpověděl tatínek, až vyrostu, budu mít také svoji břitvu, ale v tom se zmýlil. Představa hlavy, která by mohla odlétnout stejně snadno jako půlka rohlíku, mě přiměla, abych používal méně vražedné žiletky.

Tatínek měl zlozvyk, který velice zlobil maminku. Když šel po ulici, každou chvíli si do strany uplivoval. Jednou mě vzal na procházku do Vysočan, kde vedl nad tratí dřevěný přechod. Zrovna se blížil vlak a tatínek, aby mě pobavil, mi chtěl předvést, jak plivne lokomotivě přímo do komína. Jenže buď přišel vítr, anebo to přivodil závan dýmu, tatínkovi to sfouklo z hlavy jeho nový klobouk, a já místo sliny sledoval, jak se podoben velkému ptáku snáší dolů a usedá přímo na vagon s uhlím. Tehdy jsem prvně poznal, že tatínek je mužem činu. Namísto procházky jsme běželi na nádraží a tatínek si vymohl, že pan přednosta telefonoval na nějaká daleká nádraží, aby prohlédli vagony s uhlím, a pokud na některém naleznou klobouk, aby ho zaslali zpátky. Za několik dní tatínek klobouk hrdě přinesl, ale maminka řekla, že si ho nemůže vzít na hlavu, protože je od uhlí mourovatý jako kocour.

Maminka byla doma se mnou, starala se o všechno, vařila, nakupovala, vyváděla mě na dlouhé procházky, taky mi

večer čítávala, dokud jsem neusnul. Usnutí jsem odkládal, jak jsem mohl, bál jsem se stavu nevědomí, které spánek přinášel, a hlavně toho, že se už nikdy neprobudím. Také jsem se strachoval, ze sotva usnu, rodiče někam odejdou a kdovíjestli se ještě vrátí. Někdy odešli dřív, než jsem usnul, a to jsem pak strašlivě vyváděl, plakal, řval a chytal maminku za sukni. (Na tatínka jsem se neodvážil, uměl zařvat daleko mocněji než já.) Tak jsem jim, hlavně mamince ztrpčoval život a kazil požitky z volného večera, kdy chtěli být spolu a na chvíli se zbavit svého rozmazleného potomka.

Pokud jsem byl rozmazlený, což je možné – byl jsem dlouho jedináček, můj bratr se narodil, až když mi bylo sedm let – další život mou rozmazlenost rozhodně nepodpořil.

Čas pokojného života a tak podstatného pozorování živého i neživého světa prudce skončí ve chvíli, kdy člověka vyženou do školní učebny, kde ho jako v temném žaláři drží co nejdále od rodičů, přírody, pohybu a čerstvého vzduchu, přičemž mu o tom všem vykládají anebo mu to ukazují na obrázcích, a ještě ke všemu ho nutí, aby se učil krasopisně vytvářet číslice a písmenka.

Není snadné vžít se do problémů, postojů či pocitů vlastních rodičů, malý člověk je plně zaujat sám sebou, tedy jedině vztahem rodičů k sobě – že existoval také svět jakýchsi složitých vztahů, s nímž se rodiče museli nějak vyrovnávat, mu dojde až mnohem později.

Oba rodiče vyšli z chudých poměrů, a to jistě ovlivnilo jejich myšlení. Maminka byla předposlední ze šesti dětí, její otec Josef pocházel z jižních Čech, její matka Karla z malé vesničky nedaleko Klatov. Dědeček pracoval jako podřadný úředník u soudu (měl jenom maturitu), babička vlastnila malý galanterní obchůdek, kde prodávala v době, kdy se nestarala o domácnost. Jako obchodnice posléze zkrachovala,

to už začínala éra větších obchodních firem, malé krámky neměly budoucnost. Dědeček s babičkou byli opravdu chudí, osmičlenná rodina obývala dvoupokojový byt na Petřském náměstí, a to ještě jedna místnost byla vyhrazena dvěma podnájemníkům, jen s jejich příspěvkem se dala zaplatit činže. Nicméně oba mí prarodiče dbali o vzdělání svých dětí, jedna z tet se stala první českou inženýrkou chemie, maminka vystudovala obchodní akademii a pracovala pak jako sekretářka u francouzské firmy v Praze. Měla pozoruhodné nadání pro jazyky. Ačkoliv se učila latinu jen na nižším gymnáziu, byla s to mi s ní po třiceti letech pomáhat, když jsem ji studoval, a s podivuhodnou intuicí se v bludišti Tacitových či Liviových vět orientovala lépe než já.

Dva matčini bratři měli studovat práva, ale dali se na politiku, starší byl zvolen senátorem za komunistickou stranu, druhý se stal vedoucím funkcionářem Rudých odborů. Zda si vybrali revoluční stranu z pomýleného idealismu anebo ze solidarity k chudým, kteří ještě v té době tvořili početnou část společnosti, neposoudím, téměř jsem je neznal, ale oba se na příkaz vedení své strany za války vrátili z emigrace do protektorátu, což bylo vzhledem k jejich židovskému původu sebevražedné, a tedy rozhodně nezištné.

Maminka měla sice své bratry ráda a v úctě, ale jejich přesvědčení nesdílela, vadilo jí, že pro ně byl Sovětský svaz víc než naše republika a Lenina si vážili víc než Masaryka.

Tatínek málokdy mluvil o svém dětství (vůbec toho s námi moc nenamluvil, přišel domů, najedl se, sedl si k psacímu stolu a počítal vinutí svých motorů), ale vím, že když mu bylo třináct let, přišel o otce; babička mohla vystačit s maličkou penzí jen proto, že její švagr (jediný bohatý příbuzný) je nechal zdarma bydlet v domku kousek za Prahou, který dokonce koupil kvůli nim. Na studiích se tatínek živil

kondicemi (ty musela dávat i maminka), ale pak získal v Kolbence slušné místo, které neztratil ani během velké krize; presto si myslím, že nezaměstnanost, která se tam dotkla tak mnoha dělníků, ovlivnila nadlouho jeho smýšlení.

V den mých šestých narozenin umřel T. G. Masaryk. Maminka mi k narozeninám slíbila žloutkové věnečky, které jsem považoval za mimořádnou lahůdku. Opravdu je upekla a naplnila krémem. Dodnes ji vidím, jak s mísou věnečků vchází do dveří a pláče, hlasitě vzlyká, po krásných tvářích jí kanou slzy a já nechápu, proč pláče, když mám narozeniny.

Příštího dne jsme se ve škole, chodil jsem už několik dní do první třídy, učili píseň *Teče voda teče cez velecký majír*, protože ji prý měl Masaryk rád.

Někdy v těch dnech tatínek přijel v novém autíčku, bylo tmavě modré a říkalo se mu bejbinka. Maminka s ním pak jezdila na nákupy, ale řidička byla špatná, jednou mě vezla dolů do Vysočan, a zrovna když přejížděla koleje, motor zhasl a maminka ho nebyla schopna znovu nahodit. Za námi se zvolna hromadily tramvaje, zvonily plné zlosti, maminka si zoufala a chystala se, že z auta uteče. Pak nás nějakí lidé odstrkali z kolejí a úplně cizí chlap jí potom motor nastartoval. Maminka, jak byl rozčilená, nějak špatně zabočila a ocitli jsme se na jakési polní cestě, a maminka prohlásila, že nemá ponětí, kde jsme, a že se odtud určité nikdy nedostaneme. Já se jen třásl, že motor znovu zhasne a nás pak na poli ohlodají zajíci. Nakonec jsme se dostali na silnici, ale já už jsem pak s maminkou odmítal kamkoliv jet.

Nebylo mi ani sedm let, když vypukla mobilizace, nechápal jsem souvislosti, ale stál jsem spolu se sousedkami u zahradní branky a koukal, jak kolem nás přejíždějí kolony aut a tanků. My jim mávali, zatímco nad hlavou nám hlučně přelétávaly aeroplány (bydleli jsme kousek pod kbelským letištěm).

Maminka pak znovu plakala a tatínek se zlobil na Francouze a na Angličany, o nichž jsem neměl žádnou představu, protože jsem nikdy živého Francouze ani Angličana, ani Rusa neviděl, ačkoliv, jak pravil tatínek, právě Rusové jsou naše poslední naděje.

Hned nato jsme se odstěhovali na Hanspaulku. Nový byt mi připadal obrovský, měl tři pokoje i terasu a v kuchyni velikánská kamna. Když se v nich hodně topilo, horká voda proudila do jakýchsi podivných kovových předmětů, které tatínek nazýval radiátory, přestože se v ničem nepodobaly rádiu, z něhož mluvily lidské hlasy anebo hrála hudba. Do nového bytu se narodil můj bratr Jan, což bylo jen české jméno pro ruského Ivana, takže kdybychom žili v Rusku, jmenovali bychom se oba stejně. Když tatínek novorozeně přivezl i s maminkou z porodnice, sešli se u nás obě babičky, dědeček a tety, a mimino, podle mého názoru mimořádně ošklivé, zahrnovali chválou. Pamatuju si však na jedinou větu, kterou tehdy pronesl dědeček, když mu dali nemluvně pochovat: „To sis, Jeníčku, nevybral dobrý čas.“

2.

Jednou, když nás přišla babička vdova navštívit i s tetou (která mi připadala – a také opravdu byla – velice krásná), začaly se spolu bavit německy (možná chtěly povědět něco, co nebylo určeno mým uším, já německy uměl leda *Guten Tag!*). Maminku němčina rozzlobila a po chvíli babičku s tetou napomenula, aby toho němcem nechaly, že by si měly uvědomit, jak jsme šťastní, že nežijeme v Německu. Babička se chvíli přela, tvrdila, že jazyk za nic nemůže, ale pak připustila, že to, co se děje v Německu, zvláště pak, jak utlačují *Židy*, je strašné, někdy tomu ani nechce věřit.

Až do té doby jsem slovo *Žid* nikdy neslyšel a neměl jsem ponětí, co to znamená. Vysvětlili mi, že to je náboženství, o náboženství jsem nic nevěděl, na vysvědčení jsem měl napsáno: *Bez vyznání*. O vánocích sice přicházel Ježíšek, ale o Ježíši, o němž vyprávějí evangelia, jsem nikdy neslyšel. Protože jsem dostal krásně převyprávěné Iliadu a Odysseu, věděl jsem daleko víc o bozích než o Bohu, jež vyznávali moji předci. Pak rodiče v bláhovém omylu, že nás tím ušetří před možným pronásledováním, dali mě i bratra pokřtít. Protože mezi dávnými mamčinými předky podle rodinné tradice byli i evangelíci, pokřtil mě i bratra žižkovský farář církve Českobratrské evangelické. Dostal jsem papír, který dodnes chovám, ale o Bohu či o Ježíši, o němž jsem měl věřit, že je jeho Synem a svou smrtí na kříži všechny lidi, tedy i mě, vysvobodí z hříchu a z náručí smrti, jsem pořád nevěděl nic.

Tatínek se sice zlobil na Angličany, ale rodiče mi pověděli, že se do Anglie budeme stěhovat. A dostal jsem takovou roztomilou obrázkovou učebnici angličtiny, která se jmenovala *Laugh and learn*, a maminka se začala se mnou učit.

Chtěl jsem vědět, proč se máme stěhovat do země, kde se mluví jazykem, jemuž nerozumím, kde se houba píše jako *sponge* a čte jako *spondž* a umývadlo *wash basin* a cte se woš *bejzin*, a proč se máme vystěhovat z nového bytu, kde se nám všem líbí.

Tatínek řekl, že bych to nepochopil, ale ze mu tam nabízejí dobré místo, zatímco tady může být všelijak, zvláště jestli nás obsadí Němci, kterým vládne jakýsi čalouník a ničemný pacholek jménem Hitler.

Jednoho zasněženého dne Němci do republiky opravdu vtrhli. Maminka zase plakala a naříkala, že kdyby žil ještě Masaryk, Němce by k nám nepustil.

Hned příštího dne ráno se u nás objevili úplně cizí chlapi, mluvili německy – přesněji řvali, prošli se po našem krásném bytě, nahlédli do skříně, pod postele, na terasu, do postýlky, kde se rozplakal můj malý bráška, pak cosi ještě zahulákali a odešli. Chtěl jsem vědět, co to bylo za lidi, jak to, že mohli chodit po našem bytě, jako by byl jejich; maminka zase řekla jedno ze slov, které jsem slyšel prvně: *gestapo*, a vysvětlila, že hledali strýce Otu a Viktora. Maminka byla hodně bledá, vytáhla mého bratra z postýlky a snažila se ho ukonejšit, ale jak byla rozčilená, bratr plakal stále víc.

U večere řekl tatínek mamince: musíme odtud! Jenže do Anglie jsme nejeli, protože my jsme sice víza dostali, ale tatínek žádal vízum i pro babičku, a to nepřicházelo, zato pan Kovář, jemuž patřila vila, v níž jsme bydleli, nám dal výpověď, nechtěl v domě trpět Židy, teď když se to neslušelo. Ale o tomhle důvodu mi samozřejmě nikdo neřekl a já pořád ještě neměl tušení, že se údajně liším od ostatních lidí tak, že mě kvůli tomu dokonce chtějí zabít.

Přestěhovali jsme se do právě dostavěného domu ve Vršovicích, zase jen do dvou pokojů, a hned nato začala válka.

Už si nedokážu vybavit, jak byl byt zařízen, pouze nejasně zahledám zelený otoman, knihovnu, na které stojí azurově modrá mísa, a velkou mapu Evropy a severního pobřeží Afriky na zdi obývacího pokoje; na mapě tatínek sledoval, jak postupuje válka.

Ta se vyvíjela zle, německá vojska až neuvěřitelně rychle zabírala všechny ty barevné cancoury, co představovaly jednotlivé státy, které jsem se naučil bezvadně rozeznávat. Holandsko, Belgie, Francie, Dánsko, Norsko, Jugoslávie, a ještě ke všemu se ničemný pacholek Hitler dohodl s jakýmsi Stalinem, který vládl Sovětskému svazu, že jejich říše se teď budou přátelit. Tatínka tahle zpráva zaskočila, také já chápal,

že to je zlé, protože plocha označená jako Sovětský svaz byla tak obrovitá, že kdyby se překlopila, schovala by se pod ní celá zbylá Evropa, a to ještě na mapě, jak tatínek zdůrazňoval, byl z toho Sovětského svazu jenom kousíček.

Zpočátku jsem v novém domově našel dost kamarádů a kamarádek, nejraději jsme hráli kopanou, v níž jsem poměrně vynikal, a potom na pikolu, protože okolí domu bylo členité; na rohu ulice otevřeli hospodu a u ní maličkou zahrádku se stolky a židlemi, pokud jsme do ní stačili doběhnout, skýtala dobré úkryty.

Pak mi protektorátní úřady zakázaly chodit do školy, do kina i do parku a o málo později mi nařídily nosit hvězdu, za niž jsem se styděl, poněvadž jsem pochopil, že označuje moji vytrříděnost jenže to už Německo napadlo Sovětský svaz, tatínek se v první chvíli zaradoval, že tohle je Hitlerův konec, každý, kdo napadl Rusy, i velký Napoleon, tam hanebně skončil, a to tenkrát ještě Rusové neměli to nové, nejpokrokovější zřízení, kde si lid opravdově vládl.

Jenže všechno se vyvíjelo jinak a na té velké mapě z obrovské plochy Sovětského svazu denně po kusech ubývalo, tatínek tvrdil, že to ani nemůže být pravda, Němci prostě lžou.

Lhali skoro ve všem, ale v těch zprávách z hlavního stanu zase ne tak příliš. A všude kreslili velké "V", což mělo značit vítězství, a přitom si ještě našli dost času, aby vymýšleli stále nové zákazy, které nám mely zneprřijemňovat život až k nesnesení: už jsem nesměl večer na ulici, nesměl jsem ani jet vlakem, nakupovat maminka mohla pouze v určených hodinách, babičku vystěhovali do bytečku na předměstí, protože střed města se nesměl špinit židovskou přítomností. Jen tatínek pořád chodil do zaměstnaní, to proto, vysvětlila mi maminka, že je po celém světě uznávaný odborník.

Žili jsme teď úplně osamoceně. Tatínkova krásná sestra Ilonka se stačila na poslední chvíli vystěhovat do Kanady. Nejstarší mamčinu sestru Elišku jsme nesměli ani navštívit, ani se o ní zmínit, rozhodla se totiž, že svůj původ zatají a zkusí válku přežít jako *árijka*. Tatínek myslel, že se jí to těžko podaří, ale v tom se opět jednou zmýlil. Nejmladší mamčina sestra uprchla do Sovětského svazu a její komunističtí bratři se nějakou dobu skrývali, pak také uprchli. Když je poslali nazpátek, aby tu ilegálně pracovali, Němci je brzy vypátrali, zatkli a zanedlouho popravili. Zato se k nám přistěhovala mamčina další sestra Irena, která se rozvedla, ale jen naoko, protože její manžel, který nebyl Žid, vlastnil obchod a malou výrobu líčidel, a kdyby se nerozvedl, obchod by mu sebrali. Netušili, protože něco podobného tušil jen málokdo, že za ten obchod s líčidly nabídli tetin život.

V našem domě bydlely ještě dvě rodiny, co musely také nosit hvězdu – jedna rodina v přízemí a druhá v nejvyšším patře.

V září roku jedenačtyřicátého těm z přízemí, Hermannovi se jmenovali, přikázali, že musejí odjet do Polska – prý do Lodže. Říkalo se tomu transport.

To si pamatuju, jak odcházeli, měli dvě dcery jen o málo starší, než jsem byl já, a obě děvčata vlekla obrovité kufry, na něž každá musela napsat své jméno a číslo, které označovalo jejich transport. Lidé z našeho domu vykukovali ze dveří a ti statečnější se s Hermannovými loučili a ujišťovali je, že valka brzy skončí a oni se zase vrátí. Ale v tom se mýlili všichni.

Rodiče spěšně sháněli kufry i esšálky a v lékárně, kterou nedávno otevřeli v sousedním domě, nakoupili do zásoby léky, také hroznový cukr. Jiné zásoby dělat nemohli, všech no bylo na lístky a my měli lístky zvláštní, na ně se dostala sotva polovina toho, co si mohli koupit ti bez hvězdy. Ani

ne dva měsíce po Hermannových dostal povolání do transportu tatínek, ale nejel do Polska, jen do Terezína. Byl to první transport do města vzdáleného jen kousek od Prahy, před mnoha lety ho postavili jako pevnost, která měla naši zem chránit proti Němcům, ale nikdy, jak říkal tatínek, se o to ani nepokusila. Tatínek si také musel svůj kufr popsat, a když odjížděl, maminka nepřetržitě naříkala, že neví, co si počneme, jak a z čeho budeme žít a jestli se vůbec někdy sejdem. Tatínek ji utěšoval a tvrdil, že Sověti sice teď ustupují, ale to jen lákají Němce do hlubin své obrovské země, tak jako tam kdysi vlákali Napoleona, že teď už přichází strašlivá ruská zima a ta Němce zničí. V tom se nemýlil, jen to trvalo déle, než si představoval.

Několik dní nato povolali do transportu také nás. Ten den vstoupila Amerika do války s Japonskem a šílený vůdce Hitler jí ihned vypověděl válku. Sousedé, kteří nám pomáhali narychlo balit, tvrdili, že teď už si Hitler nad sebou podepsal ortel, a v tom se nemýlili.

V Terezíně nás ubytovali v kasárnách, která se jmenovala Drážďanská. Do nevelké místnosti, říkalo se jí *ubikace*, umístili pětatřicet lidí, kromě bratra a mne samé ženy.

3.

To, že nás mělo bydlet tolik v jedné místnosti a všichni museli spát na zemi (matrace jsme si směli vzít z domova, ale bylo tu tak málo místa, že se daly položit jen na délku), většinu žen skličovalo. Pamatuju se, že první večer se ozýval vzlykot, po místnosti neustále někdo chodil, ženám se nedařilo usnout. Já naopak, i když jsem usínal nerad, noc na zemi prospal klidně a docela dobře. Druhý den ráno nám oznámili, kde se vydává snídaně, a já tedy odešel s esšálkem v očekávání, čeho se mi dostane. Nebylo to nic dobrého, jen

náhražková černá a hořká káva. Pak jsme dostali i chleba. Na první oběd se nepamatuju, ale obědy byly skoro stále tytéž, polévka, v níž se zmítala zrníčka kmínu a kus tuřínu nebo pár proužků kysaného zelí, jako hlavní chod několik neloupaných brambor s omáčkou. Omáčka se dělala z papriky, hořčice, kmínu, někdy také z polévkového prášku, jednou za čas v ní plavalo i sousto masa.

Možná mě klame paměť, která vypudila nepříjemné vzpomínky, ale dnes mi připadá, že jsem nevnímal nějaké kruté utrpení – přijímal jsem to všechno jako zajímavou změnu. Po dlouhé době, kdy jsem žil v odloučení od všech lidí, bylo odloučení zrušeno. V kasárnách žilo i několik dětí v mém věku a já se s nimi mohl setkávat. V paměti mi utkvěl okamžik, který byl jedním z mých dosavadních největších životních úspěchů. Na dvoře, jediném místě, kam jsme směli za dne vycházet, hrálo několik kluků kopanou. Neznal jsem je a ani jednoho z nich nenapadlo, aby mě pozval ke hře. Stál jsem opodál a vyčkával. Pak ke mně zalétl míč, vmísil jsem se s ním do jejich hry a kličkoval mezi nimi snad minutu, než se jim podařilo míč mi odebrat. Pak přerušili hru, znovu rozdělili hráče a mě vzali mezi sebe.

Po týdnu se v naší ubikaci objevil tatínek, řekl, že je tu jen na skok, opravit nějakou elektřinu (světlo tu každou chvíli nesvítilo, a protože dny byly vánočně kratičké, tápali jsme ve tmě anebo pálili poslední svíčky přivezené z domova), objal maminku i nás a kvapně nám sděloval, že Němci utíkají od Moskvy, že celá jejich armáda tam pomrzla a že brzy bude konec války a my se zase vrátíme domů. Říkal to všechno mamince, ale poslouchaly ho všechny ženy, co byly zrovna v místnosti, a já vnímal, jak celou prostoru prostoupil³ úleva s nadějí. Vůbec nálada na ubikaci se lepšila, někdy po večerech, okna byla pevně zavřena a zatemněna, ženy začaly

zpívat, písňě jsem většinou neznal a navíc jsem zpívat neuměl, ale líbily se mi, také jsem poslouchal historky, které si vyprávěly a které se vždycky vztahovaly k životu venku v daleko lepších dobách, než byly ty současné. Ale hned po Novém roce začali po kasárnách roznášet povolám do transportu, který mel odjet snad někam do Polska, ale nikdo si tím nebyl jist.

Některé ženy plakaly, ty silnější, anebo snad jen ty s menší představivostí je utěšovaly, že už to horší než tady být nemůže, ale v tom se mýlily. A ty povolané do transportu znovu balily těch nemnoho věcí, které si přivezly, připravovaly se na novou cestu, která, což ovšem netušily, byla pro většinu z nich poslední. Naše ubikace se na několik dní vyprázdnila, ale brzy přibyly do Terezína další transporty a prázdná místa se opět zaplnila. Pochopil jsem, že lidé kolem mě budou už teď napořád přicházet a zase odcházet, že ani nemá smysl pamatovat si jejich jména.

My do transportu zatím nešli, protože tatínek byl členem toho prvního transportu, který měl budovat tábor, a Němci slíbili, že všichni z oněch budovatelů i jejich rodiny zůstanou v Terezíně. Přijal jsem tuto skutečnost jako jistotu, nechápal jsem ještě, že věřit slibům našich vězňitelů byla bláhovost.

Ještě téže zimy můj malý bratr dostal spálu a lékařka zjistila, že já ji zřejmě přechodil, protože jsem se už „loupal“.

Oba nás odvezli na marodku. Psal jsem o téhle marodce v románu Soudce z milosti a popsal jsem cestu po zasněžené ulici do jiných kasáren; dnes už si nejsem jist, zda jsem si tuhle cestu nevymyslel, ale není to podstatné, marodka existovala a přijímala nás mladá sestřička, která se jmenovala, anebo měla přezdívku, Naftalínka a připadala mi velice krásná. Byla to první dívka či mladá žena, která mě natolik zaujala, že si dodnes pamatuju její jméno i její vlídnost.

Utěšovala maminku, která se lekala toho, že nás musí opustit ve chvíli, kdy jsme těžce nemocní a kdy nám hrozí smrt. Ta krásná sestřička slíbila, že o nás bude pečovat, jako bychom byli její vlastní, a že se určitě za pár dní zase vrátíme zdraví. Tu sestřičku jsem vídal jenom na marodce a potom už nikdy, pamatuju se, že se na mě vždycky pěkně usmála a dokonce si jednou sedla ke mně na postel a nechala si vyprávět o tom, jak Trojane statečně vzdorovali Řekům a jak Paris trefil Achillea přímo do paty, což bylo jediné místo, kde byl zranitelný. Mému vyprávění se zasmála, ačkoliv na něm nebylo nic směšného (tehdy jsem ještě nevěděl, že děvčata se smějí, aby dala najevo zájem, sympatie anebo aspoň fakt, že naslouchala), a pak kdykoliv mě mījela, pohladila mě a opět se přitom usmála. Nevím, jestli válku přežila, ale s největší pravděpodobností ji zavraždili jako většinu ostatních, které jsem v Terezíně poznal.

Na marodce se mi dařilo dobře, nemoc jsem už měl za sebou, navíc tam kolovala četba, jaká se mi dostala prvně (a vlastně i naposledy) v životě do rukou. Bylo to po jednom výtisku Rodokapsu, Rozruchu a Divokého západu. Byl jsem natolik stržen hrůzným příběhem, že si dodnes pamatuji, jak kdesi na Divokém západě vrah řídil konání svých zločinných kumpánů ukryt v hluboké jámě za městem. Dlouho se mamě pátralo, kdo se to do té jámy uchyluje, než vyšlo najevo, že oním zloduchem byl místní šerif (Zvláštní, jak první setkání s tímto druhem příběhů člověku utkví v paměti, zatímco spousta dalších, jistě lepších a zajímavějších, se z ní nenávratně vytratila.)

Začínal jsem však chápat, že žádný vymyšlený zloduch se nemůže vyrovnat zloduchům, jimž jsme padli do rukou.

Někdy zjara roku 1942 nás přestěhovali do jiných kasáren, jmenovala se Hamburská a jen málo se lišila od těch,

v nichž jsme pobývali až doteď, jen na ubikaci nás bydlelo míň, protože byla menší a měla okno do chodby. Přišel jsem i o těch několik kamarádů, s nimiž jsem se sblížil; přecházet z jedněch kasáren do druhých se nesmělo. Také jídlo bylo stejně a dny se tu podobaly jeden druhému: zaplňovaly je leda fronty na jídlo, na vodu, na záchod a pobývání na dvoře. Maminka řekla, že se bude se mnou učit, ale neměli jsme ani papír, ani knížky, tak mi aspoň vyprávěla o dávných časech, o císaři Karlovi, který založil univerzitu (neměl jsem ponětí, co to je univerzita, ale nechtěl jsem se ptát), a o Janu Husovi, kterého upálili v Kostnici, maminka zdůraznila, že spravedlnosti se nikdy na světě nedařilo, a ti, co měli moc, neváhali zabít každého, kdo se jim postavil. Také vykládala o prezidentu Masarykovi, který se naopak dovedl postavit všem, když hájil jakéhosi Hilsnera, kterého obvinili, že se dopustil rituální vraždy. Když jsem se ptal, co to znamenalo, maminka řekla, že to byl takový nesmysl, co si ničemní lidé vymysleli, aby měli důvod nenávidět Židy, žádná taková vražda se nikdy nestala.

Můj bratr Jenda ji také poslouchal, i když ničemu z toho nerozuměl, nebyly mu ještě ani čtyři roky. Z několika kostek, které měl z domova, a z polínek, která jsme v zimě fasovali, abychom si mohli zatopit v kamnech, si stavěl na podlaze mezi matracemi hrady, na něž byl pyšný.

Pak do Terezína nuceně přijeli i mamini rodiče, také druhá babička a teta Irena, nastěhovali je do stejných kasáren, takže jsme se s nimi mohli scházet. Vyprávěli, co se děje v Praze, i jak Němci všude vítězí: v Rusku se blíží k řece Volze. Ale dědeček tvrdil, že Rusy stejně nikdo neporazí, protože Rusko je obrovské, nikdo ho nikdy neobsadil.

Dědečka jsem měl rád, protože se mnou rozmlouval, jako bych už byl dospělý. Vykládal mi, jak nás zradili spojenci,

a o kolaborantech a fašistech, co udávali každého, kdo se Němcům protivil. Dědeček se také trápil kvůli oběma strýcům, kteří hned, jak přišli Němci, zmizeli, a on o nich neměl žádnou zprávu.

Dědeček byl malý vzrůstem, měl vysoké čelo a málo vlasů, také nosil uzoučký šedivý knírek, takže mi trochu připomínal prezidenta Beneše, jehož obraz visel ve třídě, když jsem ještě směl před válkou chodit do školy.

V létě dvaadvacátého roku najednou od brány našich kasáren zmizeli četníci a my mohli vyjít ven do ulic města sevřeného šancemi a hlubokými příkopy. Vyběhl jsem tehdy z kasáren šťastný jako kozlík, kterého vypustí z chlívku na dvůr a který nic netuší o svém budoucím osudu. Připadal jsem si několik dní, jako bych byl svobodný.

Pak jsme se znovu stěhovali, tentokráte do Magdeburských kasáren, kde bydlelo hodně *prominentů*. Také nám přidělili místnůstku nad zadní branou kasáren, kde jsme mohli bydlet s tatínkem a s babičkami, s dědečkem a s tetou a kde stála otlučená kredenc. Tatínek totiž měl na starosti všechno, co souviselo v ghettu s elektřinou, a za to jsme se těšili výsadě, že bydlíme všichni pohromadě. Ve vedlejší ubikaci bydleli zase tři malíři se svými ženami a dětmi. Syn jednoho z nich, malý Tomáš Fritta, se přátelil s mým bratrem, a pan Fritta bratrovi nakreslil k narozeninám několik obrázků, k nimž jeden terezínský básník, jmenoval se Mirko Tůma, připsal vždycky kratičkou říkanku. Pamatuju si na jedinou. Pod obrázek velikého čuníka pan básník připsal: *Naše prase / všechno spase / a už papalo by zase*. (Teprve po letech mi došlo, jak rouhavě nežidovské bylo to *naše prase*.)

Mne zase jiný z malířů, pan Leo Haas, požádal, jestli bych mu chvíli nepostál modelem i ve svých odrbaných šatech se žlutou hvězdou na saku. Šťastně jsem souhlasil, nikoliv proto,

že bych toužil být portrétován, ale protože mí * ze skličujícího koloběhu života v kasárnách. Když pan Haas skončil, osmělil jsem se a poprosil ho, jestli by mi nemohl věnovat několik čtvrtek. Řekl, že čtvrtky jsou vzácnost i pro něj protože je musí krást (říkal *šlojsnout*, což znamenalo totéž), ale jednu mi dal, a já pak zkusil nakreslit, jak na nádvoří stojí fronta na jídlo.

Když naši nacističtí vězňatelé zjistili, že malíři namísto úkolů, které jim zadali, kreslí a malují scény z ghetta, okamžitě je zatkli, ačkoliv jsme vlastně tady všichni byli už ve vězení. Malíři skončili v Osvětimi a jejich ženy i s dětmi na Malé pevnosti. Přežil jenom pan Haas a jako zázrakem malý Tomáš, kterému nebylo ani pět let. Přežila však, dobře uschována, část obrazů a kreseb, které malíři ukryli pod podlahou.

Pořád jsem byl ještě ve věku, kdy jsem nemusel pracovat, takže jsem měl spoustu volného času. Takových nás bylo v kasárnách víc, scházeli jsme se tedy na dvoře anebo za kasárnami. Tam byla také kovárna, kde pan Taussig koval koně, kteří tahali valníky, někdy s jídlem, někdy s odpadem nebo s kufry plnými věcí, co zbyly po mrtvých. Co zbylo po mrtvých, patřilo už Němcům. Pan Taussig měl dceru Olgu, byla asi tak stará jako já, měla dlouhé kaštanové vlasy a připadala mi velice krásná. Před kovárnou rostly dva velké stromy, myslím, že to byly lípy, natáhli jsme mezi kmeny provaz, na zemi jsme několika kameny vymezili plochu hřiště a hráli odbíjenou. Dělal jsem obvykle jednoho ze dvou kapitánu a směl si volit spoluhráče. Jako první jsem si vybral Olgu aby mi ji druhý kapitán nepřebíral, a snažil se pak předvádět tu nejdokonalejší hru, dokonce i smeče, aby věděla, pokud vyhraje, je to moje zásluha.

Hrávali jsme i vybíjenou a okýnka, také jsme kradli: někdy uhlí a výjimečně (to bylo nebezpečné) ze sklepa

brambory. Jednou jsme vnikli do skladu, kde jsem po nějakém mrtvém ukradl celý kufr plný smutných ostatků, mezi nimiž nejzvláštnější byly horolezecké boty. Snažili jsme se také z nezasklených okenních arkýřů vrhat kameny na pobíhající potkany (nikdy jsem žádného netrefil, zato jsem dosáhl mistrovství v lapání blech, kterými byla kasárna zamořena stejně jako štěnicemi), a jindy, když přselo, chodili jsme jen tak po chodbě a já ostatní bavil příběhy, někdy o tom, co jsem si pamatoval z knížky, která vyprávěla o Trojské válce a o putování Odyssea, někdy jsem si příběhy vymýšlel, třeba o Indiánech (o nichž jsem opravdu nevěděl nic) anebo o slavném vynálezci, co sestrojil aeroplán, kterým se dalo letět na Měsíc (o astronomii anebo raketách jsem věděl ještě méně). Pak Němci na krátký čas povolili, aby se v našich kasárnách hrálo divadlo, dokonce za doprovodu harmonia a opera, a tak jsem právě tady prvně v životě viděl a slyšel Prodanou nevěstu. Neodvážuji se popisovat zážitek z hudby, ale musel být mimořádně silný, byl to jakoby náhlý dotyk světa, z něhož jsem byl vyvržen. Zajímavé je, že si nepamatuji nic z vnějších okolností (třeba to, zda a na čem, pokud ano, jsme během představení seděli), ale vybavuji si tváře dvou hlavních představitelů.

Tehdy jsem také začal chodit do školy. Byla to vlastně jen jediná kasárenská místnost s jedinou učitelkou a mí spolužáci podobně jako já už několik let do žádné školy chodit nesměli, takže učit nás muselo být svízelné. Paní učitelka Kischová byla už šedovlasá dáma a krásně nám vyprávěla o literatuře, z hlavy nám přednášela verše, které prý napsali básníci Macha, Erben a Neruda, o nichž jsem nikdy předtím neslyšel, také nám vyprávěla o Donu Quijotovi, co žil ve Španělsku, jindy jsme zpívali moravské a židovské písně, nebo nás učila pravopisu. Velice nás nabádala, abychom si

vše dobře pamatovali, protože válka jednou skončí, a my nesmíme ztratit tolik let svého vzdělávání. Jenže aby si člověk pamatoval, musí se soustředit na to, co slyší, nikoliv myslet na jídlo, na které jsme však mysleli skoro nepřetržitě.

Pani učitelka pro nás dostala i trochu papíru, a pokud jsme neměli čím psát, dala nám i tužku. Jednou jsme dostali slohový úkol: popsat místa, na něž rádi myslíme.

Většina mých spolužáků psala o svých domovech, které museli opustit, ale já jsem psal o lese v Krči a o parku na Petříně, i když na obě místa jsem se dostal snad jen jednou. Ale tady v Terezíně, kde byly jen domy, kasárna a dřevěné baráky a kde se všude tlačily zástupy lidí, se mi stýskalo po lese a po parku, to byla místa stejně nedosažitelná jako domov, ale byla otevřenější a plná vůní a ticha.

Moje práce se paní učitelce tak líbila, že mě příští hodinu požádala, abych ji nahlas přečetl ostatním. Ti se jistě při mém čtení nudili, ale já se cítil poctěn. Možná právě v té chvíli se ve mně zrodilo odhodlání, že až se vrátím domů, budu psát dokonce celé knihy. Jenže naše výuka trvala sotva několik týdnů, zase začaly odcházet transporty a jeden z nich spolkl i naši paní učitelku, o níž jsem pak už nikdy nic neslyšel.

Babička Karla onemocněla, měla prý *myom*, krvácela a místnost byla plná podivně odpudivého pachu. Maminka naříkala, že babička musí stonat v takových podmínkách, ale lepší podmínky nebyly dosažitelné. Babičce bylo čím dál tím hůř, přestala jíst, jenom pila vodu, kterou jsem přinášel v kbelíku a v esšálku, když jsem na ni vystál frontu.

Maminka, pokud měla volno, u babičky seděla, držela ji za ruku a opakovala, že všechno bude dobré, válka brzy skončí, babička se vrátí domů do Prahy a společně se půjdou projít po Petřském náměstí. Mamince přitom tekly slzy, ale babička je neviděla, protože měla zavřené oči a neodpovídala, jen

strašně pomalu dýchala. Pak maminka mě i bratra poslala ven a žádala, ať tam zůstaneme co nejdéle.

Za kasárna čerstvě složili kostry dřevěných baráků, tak jsme jimi s bratrem prolézali a pak jsme se šli podívat k panu Taussigovi, jak ková koně. Vyšla ven jeho dcera, která se mi tak líbila, a divila se, co tam teď k večeru děláme, že už bychom se měli vrátit, za chvíli bude osm a mohli bychom mít malér. Mě napadlo vysvětlení. Řekl jsem, že nám umírá babička. A opravdu, když jsme se vrátili nazpátek do naší ubikace, byla tam tma, okna dokořán otevřená a na babiččině kavalci už nikdo neležel. A vedle té uzoučké dřevěné postele sbité jen z několika fošen hořela svíčka, bůhví, kde ji maminka sehnala. Maminka něco šeptala, jako by se modlila, i když se nikdy nemodlila, možná jen posílala nějaká tichá slova za babičkou na rozloučenou.

4.

Prý se z Terezína ztratili nějakí lidé, oni se dali jen těžko spočítat, protože každý den jich tolik umíralo. Němci si zřejmě nebyli jisti, kolik lidí doopravdy v našem přísně střeženém městě žije, a rozhodli se, že nás spočítají. A tak nás všechny brzy ráno vyhnali ven z města na obrovskou louku. Bylo to za podzimního pochmurného deštivého dne, zřejmě v roce 1943, protože tatínek byl ještě s námi, dostali jsme na cestu kus chleba, margarínu a paštiky, pak nás na té louce stále znovu řadili a četníci nás obklíčili a mířili na nás hlavními svých pušek. Podél řad neustále pobíhali nějakí lidé, potom už i esesáci, bylo jich mnoho, některé jsem nikdy předtím neviděl, snad přijeli posílit ty naše, a to, jak říkali lidé kolem nás, nevěstilo nic dobrého.

Stáli jsme tam hodinu, dvě, pět hodin, celý den, déšť stále sílil, světla ubývalo a my museli nehnuté stát. Ženy kolem

naříkaly, že tohle je poslední den našeho života, protože nás všechny postřílejí anebo na nás hodí bombu, a opravdu nad našimi hlavami přelétlo letadlo s černým křížem na křídlech. Někteří už nevydrželi stát, jiní je podpírali a někteří, většinou ti hodné stan, prostě padli do blata pod sebou a nevstali, ačkoliv je ostatní varovali, že esesáci tohle nesnášejí a toho, kdo padne, můžou zastřelit.

Já jsem vždycky v jakési podivné jistotě přemohl strach, pořád jsem si nedovedl představit, že by někdo přišel a zabil člověka jenom proto, že už nevydržel stát, ale přesto jsem cítil podivné sevření v hrdle, sotva jsem dokázal polknout a umiňoval jsem si, že i kdyby všichni padli, já zůstanu stát, přece mě nemůžou jen tak zabít. Zato můj bratříček plakal a trvale se dožadoval, že chce jít už domů; je mu zima a bojí se.

A esesáci pořád běhali kolem, řvali na ty, co padli na zem, kopali do nich, aby je přiměli vstát, a počítali a počítali, ale nebyli s to se dopočítat, protože, jak řekl tatínek, byli vyučeni zabíjet, a ne počítat. Nakonec večer nějaký esesák, co tomu všemu velel, dal pokyn k návratu. Mačkali jsme se potom u brány, toužili jsme být nazpátek ve svých smradlavých zablešených dírách, protože i tak to byly naše domovy.

Jednou jsme fasovali jakési odporné konzervy, kterým říkali jelitové paštiky. Chutnalo to odporně, ale já to z hladu spolykal a v noci jsem zvracel a pak jsem po tři dny nedokázal polknout ani sousto. Na marodce mi doktor sahal na břicho, pak se mi díval do očí a velel mi, abych se díval nalevo, napravo i vzhůru, a řekl mi, že mam žloutenku a vůbec to nemusí být po té konzervě. Zase jsem ležel jako bez života ^a maminka mě prosila, abych aspoň spolkl lžici kroupové polívky, v které plavaly kousky tuřínu, že jinak budu strašně slabý, ale já nemohl. Jen jsem se trochu napil obyčejné vody, ačkoliv i ta smrděla.

Čtvrtého dne jsem najednou dostal strašný hlad. Maminka tehdy, nevím jak, nejspíš uprosila nějakého kuchaře, sehnala několik syrových brambor, kus tuřínu a jednu mrkev. Teta, která pracovala v nudlárně, na holém těle propašovala kousek těsta a maminka z těch vzácných ingrediencí uvařila zeleninovou polévku s nudlemi, byla to taková pochoutka, že už jsem nikdy ani na těch nejhonosnějších recepcích nic tak skvělého nejedl.

Pak se stalo cosi podivného. V Terezíně začali otevírat obchody. Z míst, která pro ně na pokyn esesáků vybrali, vystěhovali lidi, co tam byli ubytováni, a navezli tam zboží, většinou věci z kufrů mrtvých lidí, na náměstí postavili koncertní pavilon, v němž skutečně hrával orchestr, a v parčíku pod šancemi začali stavět mateřskou školku. Nad jejím vchodem namaloval holandský malíř pan Spier na čelní stěnu obrázky zvířátek: slona, žirafu, a jestli mě neklame paměť, i opici. Dostali jsme také bankovky, ale ne skutečné, tyhle byly vytištěny jen pro naše ghetto, na obrázek rytec znázornil postavu vousáče, který držel v ruce kamennou desku. Maminka mi vysvětlila, že to má být Mojžíš a na deskách že je vytesáno desatero zákonů, jimiž se lidé mají řídit. Pak také vystěhovali z několika domů všechny lidi a namačkali je na půdu do našich i jiných kasáren, do vyklizených bytů navezli normální nábytek a nastěhovali vybrané obyvatele, ale ne třicet do jedné místnosti, jak bylo obvyklé, ale jen dva či tři.

To už všichni mluvili o tom, že do Terezína přijede delegace Červeného kříže, a je dost pravděpodobné, že Červený kříž tábor od Němců převezme a my všichni budeme zachráněni.

Delegace opravdu přijela a já si dodnes pamatuju, že jsme v narychlo upravené jídelně namísto z esšálků jedli z

talířů. K obědu byla hovězí polévka, telecí maso s bramborem a okurkový salát a ještě nakonec čokoládový zákusek, nic z toho jsme nikdy předtím ani potom v Terezíně nezahlédli, natož ochutnali. Delegaci doprovázelo několik esesmanů s lebkami na čepicích. Některé esesmany jsme znali od vidění a věděli jsme, že zbijí každého, kdo je nepozdraví, kdo by neměl připnutou hvězdu anebo se jim prostě znelíbil. Povstali jsme, ale oni se na nás laskavě usmívali a dali rukou znamení, abychom si zase sedli.

Jenže Červený kříž ghetto nepřevzal, právě naopak. Brzy nato začaly odcházet transporty do Polska, každé dva tři dny jeden, obvykle o tisících lidí. Když odešel třináctý transport, najednou nastal klid, a ten klid byl doslovný, protože kasárna zůstala poloprázdná a celé ghetto se zdálo poloprázdné, fronty ustaly a po ulicích, které bývaly k večeru plné lidí, se teď skoro nikdo neprocházel.

Tehdy začal dědeček kašlat. Pokašlával vždycky, protože ještě před válkou hodně kouřil, ale teď ten kašel zněl jinak. Dědeček se úporně potil a měl teploty. Nakonec zjistili, že má souchotiny, a musel do nemocnice, kde do obrovského sálu skládali ty, kteří tu měli ležet, než umřou. Na návštěvu jsem za ním nesměl, abych se nenakazil, ale dědeček se i tam dočkal začátku posledního roku války a posílal nám občas po někom z ošetřujících povzbudivá psaníčka. Předpovídal, že se dočkáme osvobození, věřil, že se všichni zase sejdeme a budeme žít lépe, než život dovolil jemu.

Když umřel, maminka nemohla zapálit ani svíčku, žádnou jsme už neměli.

Zůstala s námi ještě teta Irena, ta občas kromě nudli přinášela i zprávy o tom, že Rusové i Spojenci na západě už překročili hranice Německa, válka teď už opravdu šla ke konci, čas od času nad námi přelétaly cele letky těžkých

amerických bombardérů a nebe už patřilo jenom jim, nikde se neukázalo ani jediné německé letadlo. Houkávaly sirény a my s bratrem jsme vyběhli vždycky na dvůr kasáren, a zatímco jsme hleděli k nebi, snažil jsem se Jendovi vysvětlit, že ta letadla znamenají brzký konec války a my se budeme moci vrátit domů. Bratr se začal radovat, mával letadlům oběma rukama anebo tričkem, na němž měl přišitou hvězdu. Dvůr jsme neopustili, ani když jsme chvíli poté, co nám letadla přelétla nad hlavou, zaslechli vzdálené výbuchy bomb.

Němci odvěkli i všechny moje kamarády. Pamatuju si jejich jména, tváře jsem zapomněl, stejně by dneska všichni vypadali jinak, jenže nedostali čas zestárnout ani dospět.

Opravdového přítele jsem měl jen jediného. Arie byl syn předsedy takzvané Rady starších, tedy nejváženějšího z internovaných (měli snad jako jediní v kasárnách něco, co připomínalo byt, dokonce zařízený nábytkem, a tam jsme občas seděli, povídali si anebo hráli dámu), ale postavení Arieho otce mě málo zajímalo. (Zahlédl jsem ho snad jen jednou nebo dvakrát, neměl na nás děti čas.)

První skutečný přítel je jako první skutečná láska, člověk touží po přítomnosti svého druhu, chce slyšet jeho hlas, chce s ním mluvit o všem, co považuje za důležité anebo co se stane důležité tím, že se to sděluje právě jemu. Mluvili jsme i o tom, jak se vyvíjí válka, o přátelích, kteří museli odjet transportem a kterým jsme slibovali, že na ně nikdy nezapomeneme. Arie měl také několik knížek, které mi půjčil; jedna z nich pojednávala o židovské historii. Neměl jsem o ní, stejně jako o náboženství či židovských svátcích ani ponětí, zatímco Arie to vše znal, byl vychováván v přísné zbožnosti. Věděl toho hodně o životě židovských osad v Palestině, kam jeho otec jezdil, kam se málem vystěhovali a kam se nejspíš hned po válce vystěhují, protože jeho tatínek si

myslí, že tam vznikne skutečný židovský stát. Strávili jsme spolu mnoho času, podrobnosti se mi vytratily. Co zůstalo, byl pocit té dosud nepoznané blízkosti. Připadalo mi, že na rozdíl od ostatních, kteří mizeli na neznámých místech, kam je odvážely transporty, Arie zmizet nemůže, když jeho otec zastává tak důležité místo.

Mýlil jsem se. Odešli nikoliv v běžném transportu, jednoho dne se přišel se mnou nakvap rozloučit. Dal mi tehdy svoji fotografii, abych na něho nezapomněl. V náhlé úzkosti, že i on je podroben smrtícímu řádu, který tu panoval, jsem mu řekl, že něco takového si nedovedu představit, kromě toho se určitě zase sejdem, ať už budeme žít kdekoliv. Po válce jsem měl jeho fotografii na psacím stole několik let, než ji maminka, která nesnášela cokoli, co připomínalo Terezín, v mé nepřítomnosti sebrala a zničila.

Arie se nevrátil, teprve po letech jsem se dočetl, že neskončil v plynu, ale že ho i s rodiči a s jeho sestrou zastřelili.